

Подморозило, на стекле узоры, я тру пальцами, но не стирается и не тает. Я сижу и пишу под яркой лампой. Еще не темно, но мне так нравится, она как будто маленькое солнышко, грею руку и зачем-то подставляю лицо, будто бы от лампы могут выскочить веснушки.

*Дорогая мама!*

*Снега совсем нет, а вчера весь день летел огромными хлопьями. Вспомнилось, как мы с Шуриком лепили крепости и играли в снежки, ты даже обедать нас не звала, бомбили до самого вечера и никто не хотел сдаваться, пока не приходил папа и не объявлял боевую ничью. Мне так его не хватает.*

*Сегодня меня опять вызывали на комиссию. Наталья Петровна снова расспрашивала меня о деде, об отце, о Боге, не передумала ли я. А я ей опять сказала, что Бог есть и что я в него верю. Ведь дедушка так учил. И папа говорил, что надо верить, молиться. Я и сама знаю, что есть, я видела. Пусть даже ты не веришь, я видела, когда болела. Мне как будто снился сон, но я знаю, что это было взаправду. Там было много света, так много, что можно ослепнуть, и такая музыка, которую никогда не передать словами, потому что нет таких слов.*

*Я знаю, что ты молишься за меня. И не ври мне, как они. Они все говорят, что не верят, а сами бегают в церковь, когда никто не видит. Разве это не лицемерие? И не говори, что сейчас время такое. Я не откажусь от отца и деда, как ты. Никогда, слышишь, пусть хоть навечно запрут меня здесь.*

*Они все смотрели на меня как на сумасшедшую и качали головами, сказали, что это следствие болезни и надо еще полежать. Но я-то знаю, почему я здесь.*

*Наверное, теперь нескоро увидимся. Прости, что я опять так резко, опять не слушаюсь. Но ты же знаешь, не могу иначе. Я очень люблю вас с Шуриком. Вот было бы здорово, если бы вы приехали, я так соскучилась.*

*Врач сказал, что мне надо вести дневник и записывать все. Я пробовала, но выходит какая-то ерунда, тут все одно и то же, никаких событий, все по распорядку. Лучше буду писать вам, даже если письма не будут доходить, я все равно буду писать.*

*Кормят хорошо, палата отдельная. Не беспокойтесь обо мне!  
Твоя Зоя*

Запечатала, посмотрела на часы, до ужина еще есть время, успею написать Ире. Может, не буду отправлять, но напишу, о нем, о самом главном...

*Здравствуй, Ирочка!*

*Ты не представляешь, кто здесь. Ты никогда не поверишь. Он здесь. Я видела его целых два раза, и мы условились увидеться вечером. Он такой красивый, гораздо лучше, чем на всех фотографиях в его книгах. У него курносый нос и слегка оттопыренные уши, как у мальчишки. Он очень серьезный и всегда ходит с трубкой. У меня пропадает дар речи, и я стою как немая. А он улыбается.*

*А вчера сказал: «Зоя, с вами так приятно помолчать, в вас есть покой. Успокоение, которого мне так не хватает». Я раскраснелась как свекла и не знала, что ответить.*

*Только пусть все это останется между нами, доверяю тебе свою тайну, мне надо бежать на ужин.*

*Люблю, скучаю, Зоя*

После ужина я вышла на улицу, будто гулять, как обычно, врачи советовали, и ему тоже. Снег искрится, как в волшебной сказке, фонари высвечивают пустую дорогу. Калоши скрепят по снегу. Иду быстро. Сердце бешено колотится, вот-вот выпрыгнет. Неужели нет?..

У старой ели темнеет силуэт, он дымит трубкой и смотрит куда-то вверх на белку. Белка не замечает никого, грызет большой кусок хлеба, наверное, кто-то бросил ей днем. Она никак не может затащить его в дупло, не пролезает, слишком большой, она высовывается и потихоньку отгрызает по кусочку.

Мы идем вокруг корпуса по дороге, идем уже третий круг, молча. Ноги замерзли совсем, пальцев не чувствую. Но даже и в мыслях нет уйти, пусть я замерзну хоть вся, только бы он не уходил, только бы никогда не уходил. Мне так хорошо от того, что он просто стоит рядом, что он здесь со мной, что хочется закричать громко-громко, но я опять молчу. Он смеется и зовет меня партизанкой. Мы идем еще круг.

– Зоя, а кем вы хотите стать?

– Я хочу поступить в Литературный институт.

– О, это серьезно. А что вы пишете?

– Пока ничего особенного, так...

Не рассказывать же ему, вдруг он тогда попросит прочесть, а я не смогу, никогда не смогу.

Он кивает, будто знает мои мысли.

– Вы знаете, иногда из ничего особенного выходит очень стоящее.

Я смотрю на него с благодарностью, с любовью, и еле сдерживаюсь, чтобы не сказать ему все-все.

Мы доходим до моего корпуса, он останавливается.

– Ну? До завтра?

Он пожимает мне руку, а я киваю и смотрю ему вслед. Опять не буду спать всю ночь.

*25 января 1941 года*

Уже пора вставать, но я лежу, задремываю, а в голове – роем мысли бесконечные, они не дают спать, думаю о нем, о маме с Шуркой, об отце... И так всю ночь, с боку на бок, сворачиваюсь калачиком, колени к груди, так теплее.

У него сын, жена, он воевал уже. Наверное, у него было много женщин, но он никогда не посмотрит на меня, как на них... И пусть... Разве это важно? Я для него девчонка, смешная, молчаливая. Он старше почти на целых двадцать лет, а мне почему-то кажется, что в душе он совсем мальчишка... Как хорошо, что он здесь... Какое чудо, что мы встретились...

Дворник скребет снег лопатой, будто режет кочан капусты. Слышны только его равномерные взмахи, вжик-вжик... какой-то ритм, монотонно, и никогда не уснуть. Не могу спать ни под радио, ни под часы, закрываешь глаза, они тикают-тикают, громко, где-то в голове. Я убираю их в ящик стола, чтобы не слышать, хотя все равно не сплю, не могу. Обманываю, что пью снотворные таблетки, после них только хуже и голова болит еще сильнее. Это не сон, а отключение, проваливаешься в черную дыру, и даже снов никаких нет, ничего нет.

А мне вчера снился он. Я уснула минут на десять, а приснилась целая жизнь. Будто он дает мне розы, а я плету из них венки, у них острые шипы, и я режу руки в кровь, на них нет живого места, а я все беру у него цветы и плету, и кровь течет на цветы, заливает венок... А потом я вдруг оказываюсь в лесу, иду по сугробам огромным, непроходимым, иду через поле и вязну, и мне никак не дойти, так тяжело, и кажется, сейчас провалюсь, увязну как в болоте, а возле леса меня ждут: мой класс, мои пионеры, папа, мама с Шуркой, и все смотрят на меня и не верят, что дойду, спорят между собой, а я падаю и каждый раз кажется, провалюсь совсем, но я все иду, иду из самых последних сил и не понимаю, почему вязну, почему так трудно идти. Я проснулась и больше не спала, знобило, и не могла согреть ног, так холодно, все казалось, будто я там, в том ледяном лесу.

На завтраке его не было, и есть не хотелось вовсе. Поковыряла кашу, бросила, оделась и вместо процедур пошла к лесу по тропинке. Солнце отражалось от снега, сугробы нетронутым белым полотном, и на тропинке мои первые следы, всю ночь шел снег, а я и не слышала. Теперь его столько, что можно утонуть, и у него нет берегов, конца и края, но идти легко, не как во сне. Мороз трещит, кусается, я опускаю руку в карман, варежек нет, должно быть оставила в столовой, надо вернуться, но вдруг нащупываю какую-то бумажку.

*Ничему не удивляйтесь. Приходите на поляну.*

*А. Г.*

Мне смешно и так радостно, невольно хихикаю и почти бегу по тропинке к лесу, косы разлетаются в стороны, выбиваются из-под шапки.

От неожиданности ахаю вслух. На поляне целый снежный город, крепость, смотровая башня с трубой, домики, магазинчики, даже уличные ларьки, а вместо людей снеговики, много-много снеговиков, должно быть здесь потрудились целая команда ребят, да что там команда, целый отряд пионеров, целая школа, но никого нет.

Неожиданно из кустов кто-то обхватывает меня за плечи.

– Попалась! Сдавайся! – он смеется.

Мы соскальзываем по пригорку вниз, съезжаем и падаем друг на друга. Я вскакиваю, хватаю снежок, кидаю в него и бегу в крепость.

– Русские не сдаются!

Он смеется еще громче.

– Ах так!

И начинает бомбить без перерыва, никто не хочет сдаваться. Мне никогда не было так весело, как тогда, мы смеемся, играем до самого вечера, время куда-то девается, оно незаметно, его будто нет. Мне кажется, прошла минута, а проскочило несколько часов, мы забыли об обеде, о процедурах, мы забыли обо всем на свете, как будто больше ничего нет, только мы и наша снежная крепость и этот пустой бескрайний зимний лес, в котором не холодно. Мне так жарко, что я скидываю шапку, щеки покраснелись, на волосах застыли льдинки, они тают и замерзают снова. Он без труда может взять крепость, но после долгих боев предлагает мир.

Растрепанные, счастливые, мы стоим друг напротив друга, улыбаемся и молчим, словно знаем какую-то тайну, которую под страхом смерти нельзя разглашать.

У него голубые глаза, светлее неба, а внутри какой-то блеск, будто кто-то зажег огонек, и кажется, видно насквозь, прямой, бесхитростный взгляд, как чистое озеро, смотришь – и видно дно.

– А у вас шоколадные глаза и такие длинные ресницы, как крылья...

Я улыбаюсь, правда. Девчонки мои шутили, дразнили меня Вием, поднимите мне веки... Я стеснялась, ненавидела их, даже однажды взяла ножницы и подстригла их, а они опять выросли, так я узнала, что ресницы могут расти.

– Кажется, вспорхнут и улетят...

Он так близко, что я чувствую его дыхание. Руки, мокрые от снега, мерзнут, и я незаметно тру их друг об друга. Он берет мои руки в свои большие теплые ладони и дышит на них, пытаюсь согреть. Дует на них и неожиданно целует мои руки, так нежно, осторожно, и надевает мне свои рукавицы.

– А почему, когда мы только встретились, вы назвались Таней? Я ведь знал, что вас зовут Зоя.

– Откуда?

– Я же командир Красной армии. А командиры все про всех знают, – смеется. – Мне ведь мое имя тоже не нравится, все время кажется, что оно какое-то не мое, и фамилию я сам себе придумал.

– Таня – это в честь Соломахи. Я прочла о ней в детстве. И меня так поразило это. Ее же пытали, избивали, зверски мучили, а она все не сдавалась, все вытерпела, даже страшную казнь – четвертование. Разве возможно такое пережить? Какие же нужны силы, нечеловеческие. Мне кажется, я бы не смогла.

– Вы, наверное, будете смеяться. Но я почему-то уверен, что у вас какая-то светлая миссия в этом мире, какая-то сверхзадача, которую я не могу разгадать, и объяснить не могу, но вы как будто родились для подвига. И у вас такое лицо, как на иконе. У моей прабабки было много икон, и мне кажется, я уже где-то видел это красивое лицо, и никак не могу вспомнить где. Теперь вы будете думать, что я и правда сумасшедший?

– Нет, – почему-то шепотом говорю я, – мне иногда тоже так кажется, будто я должна сделать что-то важное, а что – я не знаю. И мне иногда очень страшно... Смогу ли я...

– Кто знает, что мы можем, на что способны. Вот война очень быстро определяет людей, там все просто и сразу понятно, кто ты. Лучше вытерпеть один раз мучения и смерть, чем жить всю жизнь с предательством. Даже если соврешь товарищам, утаишь, себя ведь не обманешь, это не жизнь, а сплошное мучение, бесконечное, которое не смыть.

– Вы думаете, будет война?

Он посмотрел на меня серьезно, словно решая, можно ли мне говорить.

– Будет. Уверен, что будет. И мне страшно за вас. Иногда я смотрю на вас, и мне безумно хочется защитить вас, спасти от этого мира. Но я не могу. Это вы меня можете спасти, вы все можете, а я нет. Вы как истина, ее не спрячешь и не победишь, но ей всегда достается больше всех.

– Это ведь счастье совершить подвиг ради всех людей, это только избранным дается, бессмертие. Наверное, это какие-то особенные люди, а я... Что я могу? Какой подвиг? Заставить ребят заниматься с безграмотными... Разве это подвиг? А Соломаха – настоящий герой, смелый, самоотверженный. Я писала о ней сочинение в школе. А потом маму вызвали и сказали, что мое сочинение лучшее в классе и мне надо писать. Может, я смогу написать что-то хорошее для людей, что-то стоящее, как вы.

– Как я, – смеется, – нет, вы напишите лучше, напишите так, как я никогда не напишу, напишите обо мне, по-настоящему, от сердца, искренне...

– Я столько рассказывала всем о Соломахе. Мне все хотелось понять, как это, как она смогла. Что в этой истории правда и как было на самом деле? Что она чувствовала? Вот все и стали звать меня Таней, даже брат, представляет.

– Тогда и я тоже буду. Таней. Танечкой... Сегодня ведь Татьянин день, а значит, я вас поздравляю и исполняю любое ваше желание. Чего бы вам хотелось прямо сейчас? Желайте смелее! – он лукаво улыбается.

– Все-все можно желать? А вдруг не сможете выполнить?

– Что? Чтобы командир Красной армии и не смог выполнить какое-то там желание! Для нас нет ничего невозможного! Дерзайте!

– Ну тогда... Мороженое, мне хотелось бы мороженое... – вдруг выпаливаю я.

– Нет ничего проще! – невозмутимо говорит он и вдруг достает откуда-то из снега за слепленным магазином два мороженых.

Я стою с открытым ртом и не знаю, что сказать.

– Как вы узнали?

– Вам хочется всему подтверждение, это легче, чем поверить в чудо? Ну, все просто, у меня оно было с собой. Хотя я бы предпочел, чтобы вы поверили в чудо.

– Я верю. Ну а если бы я не пожелала мороженое, а попросила бы скажем, мармелад.

– Ну тогда бы я сказал, извините, есть только мороженое, – смеется опять, как ребенок. – Но вы бы не сказали мармелад.

Мне кажется, он все про меня знает, будто мы знакомы тысячу лет.

– А это? – я показываю на снежный город.

– Это я сделал ночью. Я плохо сплю по ночам. Мне все время снится война, убитые люди. Мне не спать легко. Вот и нашел себе занятие. Теперь вы знаете все секреты.

– Для меня это все равно чудо. А как вы думаете, Бог есть?

– Раньше я бы ответил нет, я и в книгах так писал, но теперь я знаю, что есть. Если бы не он, я бы не встретил вас.

– Мой дед был настоятелем храма. Отсюда и фамилия, отсюда и сумасшедший дом, санаторий для умалишенных, где мы сейчас встретились. Отец тоже верил, не открыто, но верил, и даже причащал нас с Шуркой в детстве. Это было настоящее чудо. Потому что тебе дают кусочек Бога, он внутри тебя, и ты как будто тоже становишься Богом.

Мы шли и в заснеженном зимнем лесу ели мороженое, оно такое белое, как снег, и самое вкусное на свете. Снежинки летят на одежду, щеки, мороженое, красивые звездочки, колючие. Помню, в детстве я ловила их ртом, а мама ругалась.

Тропинка уводит от крепости, от придуманной сказки. Уже виден корпус, но так не хочется прощаться. С ним можно говорить обо всем, и он думает как я. Он не приемлет полумеры, для него или герой, или предатель, или правда, или ложь, а третьего ведь не дано.

Он провожает меня, говорит «Увидимся», жмет мне руки. Я вспоминаю про рукавицы, хочу ему отдать, но он не берет.

– У меня нет с собой книг, чтобы подарить. Возьмите их как подарок, они теплые и будут вас греть.

Навстречу идет дворник.

– Аркадий Петрович, к вам жена. Уже давно ждет, – он указывает на лавочку, на которой сидит немолодая, но красивая женщина в пальто с меховым воротником и аккуратном беретике.

Я ухожу незаметно, не сказав ни слова. Он идет к ней. Никого нет, и я нарочно долго стою при входе и слышу их разговор.

– Зачем ты играл с этой девочкой в снежки?

– Зачем ты приехала?

– Как зачем? Хотела тебя повидать.

– Повидать алкоголика, у которого белая горячка?

– А что, лучше арест? Расстрел?

– Для меня лучше!

И будто смягчившись, жалея, что нагрубил, он обнимает ее за плечи.

– Прости, я никого не хочу видеть сейчас.

Он уходит по дороге, на ходу доставая трубку.

\* \* \*

В комнате я раскладываю рукавицы и долго смотрю на них, снежинки тают, превращаются в капельки. На столе письмо от мамы, должно быть, опередило мое.

*Дорогая доченька!*

*Мне разрешили тебя забрать домой. Ты сможешь сдать экзамены с ребятами и готовиться к поступлению*

*в институт. Все будет хорошо. Мы со всем справимся вместе.  
Не упрямясь.*

*На днях буду.*

*Люблю, целую, мама.*

Я сваливаюсь на кровать в одежде. Мамочка, как я соскучилась, и как не хочу уезжать. Мы больше не увидимся, и писать не выйдет, а мне так нужно говорить с ним, хоть иногда говорить.

\* \* \*

Я не видела его весь день и страшно мучаюсь, боюсь, что мама придет внезапно и мы не успеем попрощаться. День тянется безмерно долго. Я хожу целый день вокруг, обхожу весь лес, но его нигде нет.

Уже совсем стемнело, зажглись фонари, на елке каркает ворона. Так горько, что его нет, я уже хочу уйти и вдруг слышу такое знакомое:

– Таня! Танечка!

Я оборачиваюсь, он бежит, запыхавшись, взлетит в сугробах, он в распахнутой телогрейке, наспех накинутом шарфе, без шапки.

Мы садимся на заснеженную лавочку под фонарем.

– Я вас искала. Я завтра уезжаю домой. И мне нужно столько вам сказать...

Он прикладывает палец к губам.

– Не надо ничего говорить.

И вдруг запекает:

Летчики-пилоты! Бомбы-пулеметы!

Вот и улетели в дальний путь.

Вы когда вернетесь?

Я не знаю, скоро ли,

Только возвращайтесь... хоть когда-нибудь.

– Но мы больше не увидимся, – испуганно говорю я.

– Кто вам сказал? Обязательно увидимся!

– Но вы ведь даже не знаете моего адреса.

– Как не знаю? Знаю. Тверской бульвар, 25, Литературный институт имени Горького. Адрес точный?

– А если меня не примут?

– Примут. Обязательно примут.

Он вдруг встает и целует мне руки, прямо через рукавицы, пожимает и говорит:

– Танечка, я не прощаюсь.

Я долго сижу на кровати не раздеваясь и вдруг засыпаю прямо в одежде, от усталости. Просыпаюсь уже поздней ночью и больше не сплю. Хочу написать рассказ о нем, хочу написать о самом главном, но ничего не выходит, не знаю, как передать, как рассказать, чтобы все поняли...

Мама приехала рано утром. Мы быстро собрали вещи, пару книг, тетрадок, белье, что-то из одежды, собирать особенно нечего.

Я выглянула в окно, на чистом листе снега большими буквами:

«Танечка, будь счастлива!».

Мама смотрит удивленно, будто догадываясь. Хочет спросить, но не решается. А я делаю вид, что это не мне. Я ведь Зоя, и никто не знает,

что Таня. Молчу и я так счастлива, что мне хочется бесконечно благодарить Бога.

\* \* \*

Первые дни дома было так хорошо, спокойно. Мама уходила на работу, Шурка на занятия. Я убирала, готовила, мыла полы, будет и от меня какая-то польза, потом писала, хотела написать рассказ о нем, но решила начать с самого детства, рассказать о бабушке, о деде, пусть будет как дневник, пусть будет как у Горького, мои университеты, а вечером помогала Шурику с чертежами. Пока меня не было, он скопил денег мне на платье, он у нас замечательный, очень добрый, раньше мы ссорились, бывало, и подраться могли, оба упрямые, а теперь все иначе. Он говорит: «Ты стала какая-то другая!»

– Какая другая, что ты, такая же, как и была.

Шурик мотает головой, он все чувствует, все понимает, но ему не объяснить, я, наверное, никому не смогу сейчас объяснить. Он догадывается, что я влюбилась, и больше ничего. Но это ведь другое, это больше... Влюбилась я, когда читала его книги, а теперь он... как родная душа... Разве обязательно нужны слова? Есть вещи, которые надо понимать без слов и которые будет знать только он и я, и больше никто.

Когда я сказала, что видела А. Г., мама с Шуриком очень удивились, спрашивали, о чем мы говорили. И я сказала, что спрашивала его о счастье. Он ответил, что есть два счастья: одно большое общечеловеческое, за которое не жалко умереть, ради которого стоит бороться, а другое – личное счастье, оно для каждого свое. Но честный человек не может быть счастлив, когда другие несчастны. Поэтому герои – это такие люди, для которых общее человеческое счастье важнее своего личного. Он не говорил мне этого, но он так писал и я знаю, что он так думает и теперь. Мама с Шуриком покивали, сказали, что А. Г. все правильно говорит. И больше о нем не спрашивали.

Мы купили мне красное платье в черный мелкий горох. Мне непременно хотелось красное. Шурик сказал, что мне очень идет, и мама тоже. Когда никого не было, я мерила его, распускала волосы, они сильно отрасли и рассыпались темными волнами по плечам. Я вставала на носочки и кружилась в вальсе, будто бы он меня пригласил. И я видела его глаза, счастливые, как у ребенка в хороводе на елке. Он смотрел на меня как на чудо, и со мной он словно становился опять восемнадцатилетним, и тогда ему казалось, что он может все поправить, прожить иначе, что нет груза тех лет, нет войны и убийств. Он будто не прожил совсем свое детство, будто пропустил его и сразу стал взрослым, стал воевать, а в душе так и остался ребенком, тем самым мальчишкой, у него даже ямочки на щеках и глаза все время смеются. Я разгадала его сразу. И он понял без слов, он все понимает, и мы кружимся в вальсе, будто никого и ничего нет, только мы.

Шурик вошел внезапно, я не услышала.

– Какая ты красивая! Иди так на выпускной!

Я покраснела, сливаясь с платьем. Ужасно стыдно, засела за уроки.

Весна пролетела в учебе, подготовке к экзаменам. Я упрямая, сидела и день и ночь. Ира робко предлагала помощь, но знала, что я все хочу сама. Шурик даже и не совался, говорил, что толку предлагать, ты же упрямая как осел, лоб расшибешь. С алгеброй и физикой было тяжелее

всего. Перечитывала по сто тысяч раз, и казалось, все равно не понимаю, тогда я вставала, ходила по комнате, а потом опять и опять.

В классе мне все неожиданно обрадовались, и даже никто не называл меня сумасшедшей, как раньше. Ира по уши влюбилась в Петьку. А я говорю, как можно влюбиться в человека, которого не уважаешь, он же двоечник, на контрольных списывает, помешан на своем аэроклубе, больше ему ничего не интересно. А Ира только отмахивается от меня, как от надоевшей мухи:

– У тебя всегда все правильно, скучно даже, но ведь любят не за это... Как тебе объяснить? Вот полюбишь – поймешь.

А про А. Г. она не верит, говорит, что мне не стоит об этом думать, что я идеалистка и напридумывала там себе, что надо спускаться на землю. Я даже обиделась на нее за это, мы целую неделю не разговаривали, а потом занимались как ни в чем не бывало, но уже не так как раньше. Я подружилась с Ниной, она не из нашего класса, но она думает, как я, и понимает, нечего мечтать о любви и личном счастье, пока не сделал что-то стоящее для всех, для всего человечества, пока не заслужил уважения... Как можно радоваться, когда в мире еще столько горя. Нет, нельзя.

\* \* \*

Я стою у окна и заплетаю косу. На улице солнце сжигает снег, все течет, и пахнет весной упоенный сладкий воздух. Ребятишки кричат, пускают кораблики.

А я все вспоминаю наш теплый мягкий снег, укутанные деревья, засыпанные домики, сугробы ростом с меня. А снег все идет, сыплется белоснежным конфетти, оборачивает белым серпантинном. И мне тепло оттого, что он рядом и смотрит своими светлыми голубыми глазами. Интересно, бывают ли у него веснушки? Мне отчего-то кажется, что непременно бывают, что солнышко тоже любит его. Мне его так не хватает.

Я читаю его книги, и он как будто говорит со мной, но это другое. Я знаю, что книги лучше оставить на долгое потом, когда вдруг... мне страшно сказать... вдруг его не станет, и я не смогу пережить, он будет там, в книгах, для меня, всегда. Я почему-то очень боюсь, что с ним что-то случится. Какое-то дурацкое предчувствие не дает покоя. И так тревожно на душе. Он говорил, что будет война. Нет, они не посмеют, они обещали, клялись. Нет. Не верю. Не может быть такой подлости, это несправедливо.

Как же он там? Выписали ли его? Я каждый день смотрю и мою «Пионерку», и большую «Правду», и другие газеты-журналы. От него – ничего, и о нем – ничего.

Шурик окликает меня, пора идти в школу, оказывается, я уже около часа так стою.

– Ты всегда была задумчивая, но теперь ты как будто в другом каком-то мире...

Я отмахиваюсь:

– В каком другом? Все в том же, в нашем советском, не придумывай. Пойдем, а то опоздаем.

Я хватаю портфель, завтракать уже некогда, да мне и не хочется.

Шурик беспокоится, шепчет маме, что со мной что-то не то, думает, я не слышу. Но мама успокаивает его, говорит, это после болезни.

Весной мы всей школой сажали деревья, яблони и липы. Это такая радость, которую и сравнить не с чем. Я посадила липу, моя липа третья справа. Хочу посадить много-много деревьев, они будут расти вместе со мной и когда-нибудь, когда меня уже не будет, они будут жить, цвести, будут радовать других, давать тень в жару, очищать воздух, они будут жить долго-долго, будут большие, зеленые и красивые.

Дерево – это как человек, только живет дольше, но все чувствует, дышит. Я так любила в деревне ходить в лес. Шурик смеялся надо мной говорил, ну вот сейчас опять с деревьями обниматься начнет, пока всех не обнимет, домой не пойдет. Один раз мы ходили с дедом на охоту, он учил Шурика стрелять уток. Я не дала. Жалко отчего-то стало. Она же летит беззащитная. Они сказали, что я мягкотелая и больше они меня не возьмут. Но стреляю-то я лучше Шурика, ходила с ним в тир, и в кружке меня хвалили. Только зачем по уткам, зачем по живым, не понимаю.

На субботник к нам приходил корреспондент из газеты. Такой смешной, длинный-длинный, как дядя Степа, и в очках. Оказалось, это Лев Кассиль. Я читала его «Письма из Москвы», люблю его «Швамбранию». Но я всегда представляла его каким-то другим, важным, серьезным. А он такой веселый, простой. И должно быть, он знает А. Г. Когда он уже уходил, я догнала его и спросила про него. А он как будто понял все без слов.

– Вы, должно быть, Таня? И собираетесь поступать в Литературный институт?

– Откуда вы знаете?

– Корреспонденты все знают. Приходите осенью к нам в газету, найдем вам дело.

– Спасибо.

Кассиль ушел, улыбаясь и что-то насвистывая.

Значит с ним все в порядке, значит все правда. И это было второе огромное счастье в этот день.

Корреспондент газеты – как же это здорово, можно много ездить, писать про людей, писать о хорошем и всех делать счастливыми, и защищать тех, кого обидели. Это лучше всего.

Я ходила на Тверской бульвар, подходила к дому Герцена. Мимо неслись ребята на занятия. А я стояла и смотрела. Мне так хорошо там во дворе, странное такое чувство, как будто это мое родное, будто это что-то близкое. Как же объяснить?

– Эй, ты чего... Опаздываешь? – крикнул какой-то нескладный курявый парень, пролетая мимо.

Я мотнула головой:

– Я только собираюсь поступать, в следующем году.

– А-а, – понимающе кивнул он. – А что пишешь?

Я пожала плечами:

– Пока не знаю.

Он крикнул:

– Если стихи – иди к Антокольскому... – крикнул и убежал, будто его и не было.

А вдруг он уже известный писатель или поэт, они пробегают мимо, а я никого из них не знаю, не узнаю. Я все стояла в растерянности и задумчивости. И вдруг кто-то схватил меня за руку.

– Ты откуда? Новенькая?

Спросила веселая маленькая девушка, она была на каблуках, но все равно казалась маленькой и хрупкой, как статуэтка в музыкальной шкапулке, голос ее звенел колокольчиком. Рядом стоял высокий молодой человек с ясными светлыми глазами и слегка взъерошенными темными волосами.

– Я Нина. А это вот Сережа. Ты приходи к нам в гости, у нас весело...

Сережа нетерпеливо дернул ее за рукав:

– Нинка, пойдем, опоздаем, Славка ругаться будет.

И они так же легко ушли, как и появились.

А я все смотрела на желтый красивый домик с белыми колоннами. Воробей купался в луже, и было так тепло и безветренно.

\* \* \*

В субботу был выпускной бал в школе. Какие они все невероятно красивые, и девочки, и мальчики, у них светятся лица, они краснеют, волнуются, но так искренне, все мысли на лице.

Я не хотела идти, это же не наш бал, Шурик с Ирккой подбили. Говорят, надо посмотреть и в следующем году сделать еще лучше. Да разве можно лучше? Столько цветов кругом: сирень, розы... Мне хочется все понюхать. Играет вальс, и все кружатся. Вася приглашает меня, он комсомолец, и Шурка говорит, что давно в меня влюблен. Глупо. Он ведь совсем меня не знает, и подойти боится, только смотрит, краснеет и на собраниях рядом садится. Мне его жалко очень. Но я не танцую. Прости меня. Я танцую только с ним. Пусть в мечтах, но только с ним. Может, когда-нибудь он пригласит меня, я буду ждать хоть всю жизнь.

Шурик позорит меня за Васю, Вася ведь положительный, хороший, зачем я так с ним. А я ему так серьезно и важно говорю, что рано еще думать о таких глупостях, надо выучиться, состояться, пойти работать, а уж потом... И он мне верит, слушает кивает, а сам на обороте тетрадки рисует Наташу из параллельного класса. Она зовет его танцевать, а он краснеет и ни в какую, она чуть ли не за руку его тащит, а Шурик стоит как вкопанный, и ведь все знают, что она ему нравится. Смешной упрямый дурачок. Я уговариваю его потанцевать, но он такой гордый, ни за что. Говорит, сама-то что не танцуешь... Уходит обиженный.

Ира счастливая, весь вечер протанцевала со своим любимым Петькой. Мы встаем в круг. И мне хочется их всех обнять, каждого по очереди и пожелать им самого... Почему-то кажется, что больше не увидимся, наверное, потому что многие поступят в институты, уедут, женятся, и, может, им уже некогда будет прийти в родную школу. Начнется новая, взрослая жизнь. Еще чуть-чуть – и у меня. Столько еще всего впереди, сердце вздрагивает. Кажется, стоишь перед чем-то необъятным, новым, неизвестным. И вот-вот канешь туда. Упадешь или полетишь?

Вечер был теплый, светлый. То тут, то там звенела гитара, смеялись, гуляли компаниями, сегодня у всех выпускные. Совсем не хотелось идти домой. Гуляли с Ирккой до рассвета. Нам подарили шарики, целую связку, совсем как я мечтала в детстве.

Мои все спали, когда я пришла. У мамы наутро экзамены. Я открыла окно и дышала. Шурик бормотал сквозь сон: «Закрой, комаров напустишь!» Я не боюсь комаров, пусть кусают, им ведь тоже надо жить. Помню, Шурика в детстве кусали. Я говорю: «Убей, на руке». А он так просто отвечает: «Она же мама, ей деток кормить надо, пусть пьет, мне

не жалко». Терпел, не убивал. Теперь и не помнит. Кажется, совсем недавно было.

Бесконечное поле на рассвете, с блестящими капельками росы. Я бегу по нему босиком, ноги мокрые, но солнце уже греет, сушит, слизывает испарину с поля. Отец точит косу. Я помогаю ему, складываю скошенную траву. Рассматриваю муравейник, какие трудяги, собираю цветы, играю. А после обеда отец читает мне Библию. Мне нравится про Соломона и всяких царей, а про Христа грустно, и я говорю отцу, не надо, не читай, его замучают и убьют. А он отвечает, глупенькая это ведь к радости, это спасение всем нам. Христос так возлюбил людей, что отдал жизнь за их грехи, это его победа, победа над злом, спасение для всех, бессмертие. Он ведь доказал: с Богом человек может победить, со всем может справиться. Муки его за других людей, и это счастье.

Я смотрю в окно. Соловей скачет с ветки на ветку, запекает свою песню, откуда он здесь? Духота сменяется предрассветной свежестью, пахнет сиренью, травой, летом. Засыпаю сидя.

*22 июня 1941 года*

Утро радостное, неспешное. Солнце припекает через окно. Я мою посуду, Шурик что-то мастерит. Вот примет мама экзамены, и, может, все вместе поедет в деревню. Я так соскучилась по бабушке, так хочется туда, купаться, на речку. Буду писать там и читать, много-много всего, у меня уже целый список. Сегодня пойдем с Иркочкой в библиотеку и наберем книжечек.

И вдруг, как гром, заговорило радио. Я вздрогнула от неожиданно-сти. Это Молотов. Это война. Я посмотрела на Шурика, вдруг я ослышалась или показалось, но нет, он тоже это слышал. Что же это? Этого ведь не может быть. Было непонятно, что делать, куда бежать. Молотов уже закончил говорить, а мы с Шуриком все еще стояли как вкопанные, не веря, надеясь, что это все неправда, может, не поняли, может, послышалось.

Вошла мама. Она, вероятно, не слышала, не поняла, что с нами.

– Что случилось?

– Война, мама, война! – радостно заорал Шурик. – Теперь-то мы им покажем! – Он выскочил во двор.

У мамы будто подкосились ноги, и она плюхнулась на стул. Я обняла ее, и мне все еще не верилось, не могла сказать ни слова. Германия напала на нас. Гитлер. Перешли границу, открыли огонь. Это же невозможно, нечестно... Все никак не укладывалось в голове. Что теперь делать? Что теперь будет?

Теперь все пойдет по-другому. Вся жизнь изменится.

\* \* \*

День выдался шумным и непонятным. Пошла к Ире, ее нет, кругом неразбериха, люди с вещами, толкотня, очереди километровые за всем. С трудом нашла Иру и Нину. Побежали в военкомат, просидели в очереди до обеда. И ничего. Везде: «Ждите, если надо будет, вас позовут». А старших брали: мальчишек в разведчики, а девочек в санитарки. Так обидно, ведь всего год разница. Вот бы скорей сентябрь, и мне будет

восемнадцать. Ходили в райком, в отделение Красного Креста, в больницу и поликлинику. И везде тоже. Очень много людей, и никто не поймет, что делать.

Домой я пришла под вечер, сил разговаривать не было совсем, поела и сразу уснула. Наутро с девочками опять пойдем ходить.

Но всюду одно и то же: «Вы еще маленькие». Так горько от этой бестолковости. Почему? Я должна попасть на фронт, должна справиться, как можно жить и ничего не делать. С досады не заметила, как искусала губу в кровь.

Сводки ужасающие. А я здесь. Я ведь умею стрелять, могу бороться, я сильная. Сейчас так злит это бездействие. Совершенно не могу сидеть, давит, как тонна железа, кажется, ничего не получается. А время уходит, и злюсь сама на себя, еще один день оторвался от календаря.

\* \* \*

Появилось хоть какое-то дело, маскировка. Таскаем песок, наливаем бочки, роем щель во дворе. Москва на военном положении. Витрины заставили песком, вводят карточки, на улице почти никого. Весь город словно переоделся в военную одежду, помрачнел, встал часовым.

Мама достала иконы: «Богородицу» и мою «Зою Римскую». Я смотрю на ее лицо, и мне почему-то кажется, мы похожи, она такая строгая, а взгляд ласковый. Бабушка подарила ее мне на Крестины, когда я только родилась, а дедушки уже не было, его замучили и убили. Отец мало рассказывал, но я и так знаю, в больнице и в райкоме всякий раз спрашивали.

Помню, в детстве я все допытывалась у отца, кто эта тетя. А он говорил, у каждого есть свой святой, в честь которого его назвали и крестили. У тебя Зоя, она жила давно и пострадала за Христа, ее повесили. Ты ее проси о помощи, когда трудно, и она тебе поможет. Только пусть это будет тайна, наша с тобой, и ты – никому. Я кивала, и он знал, что не выдам. Шурке он не говорил, Шурка бы проболтался, а мне верил.

«Дорогой Бог, если ты можешь помочь сейчас всем нам, то, пожалуйста, помоги! Спаси Москву! Помоги победить!

Зоя, помоги мне попасть на фронт! Помоги мне сделать, что я должна, сделать что-то стоящее, хорошее, нужное...»

Папа когда-то учил молитвам, но я не помню ни одной, он только говорил, что молиться надо искренне, от сердца, тогда Бог услышит. И я молилась, как умела.

Становилось все тяжелее. Каждый день кто-нибудь из знакомых уходил на фронт. Сначала из нашего дома ушли все взрослые, а потом мальчишки, ребята, которые только кончили школу, учились в институте, потом Славка мой двоюродный брат, сын тети Оли, маминой сестры. А первого июля мы проводили Шурку, он все держал в секрете, не говорил, куда едет. И стеснялся нас, когда мы его провожали. Завидую ему ужасно, он ведь младше. Я бы тоже могла. Почему же его взяли, а меня нет, будто я совсем непригодная. Расплакалась. А у мамы только одно утешение: «Ты же девочка! Ты и так помогаешь! Девочки не воюют». А я не девочка, я боец, не хочу быть никакой девочкой. Вчера взяла ножницы и отрезала косу. Мама только ахнула. Жалко, столько растила. А мне не жалко. Теперь война, и девочки идут воевать, и будут воевать не хуже, потому что все мы в беде. А волосы новые отрастут, вот только с короткими неудобно, лезут в лицо, и не соберешь их, непривычно,

еще и выются, укладываются волнами, противно, все думают, я их специально накручиваю. Распрямляю руками, а им все равно.

Шурик уже неделю там, а мы с мамой сидим тут и шьем вещмешки для фронта. Она говорит, это тоже дело. Но какое же это дело? Когда немцы уже подходят к Москве.

Тишина страшная, мучительное ожидание, и только плохие вести, только горестные, и каждый день плач в коридоре. Уже пришли первые похорошки. И с каждым днем все тревожнее.

Они уже погибли, отдали свою жизнь, сделали все, что смогли. А я? Стыдно сидеть и смотреть! Я ведь могу стрелять, могу помочь...

Немцы расстреливают младенцев, убивают и зверски мучают детей, женщин и стариков, издеваются, загоняют людей в душегубки, гноят в плену, крушат наши дома, топчут нашу землю. Как же можно сидеть и смотреть? Как можно слушать об этом по радио и ничего не делать? Читать в газетах и молчать, сидеть здесь?

Меня ужасно мучает это. Каждое сообщение отдается болью где-то внутри, будто в меня втыкают нож. Лучше умереть вместе с ними, отдать всю кровь до последней капли, бить этих гадов до последнего вздоха, собрать все силы, сейчас надо собрать все силы, чтобы спасти родных, детей, стариков, наш дом, Родину. Нужно быть всем вместе и нужно быть решительнее, сильнее, строже. Надо верить и в Бога, и в самих себя. Тогда мы победим. Мы обязательно выстоим.

\* \* \*

День тянется невыносимо. Я иду по пустой улице. И вдруг у парка вижу такой знакомой силуэт с трубкой. Только теперь он в военной форме и волосы пострижены коротко, а глаза все те же, и он все тот же. Не верю, не помню себя от радости.

– Танечка, какое счастье, что я вас встретил. Я почему-то знал, что встречу вас. Мне обязательно нужно было вас увидеть. Я завтра уезжаю военным корреспондентом на фронт.

Я посмотрела ему в глаза и все поняла.

– Это ведь неправда. Вы едете воевать.

Он виновато опустил голову, а потом пристально взглянул на меня.

– А что, вы бы простили меня, если бы я не поехал? Вы бы смогли любить меня, если бы я остался...

И не дожидаясь ответа, сам ответил за меня.

– Нет. Я бы и сам себе никогда не простил.

Я улыбаюсь наивно и чувствую слезинки на ресницах.

– Я бы любила, я бы все равно любила и... я бы простила.

– Теперь война и все летит в тартарары. Главное – выстоять, главное – победа. Но я ведь буду писать, буду бить их и словом, я обещаю вам. Теперь я могу писать правду, писать от души, теперь можно говорить искренне.

– Я буду смотреть все газеты, буду ждать ваших статей. И если они будут выходить, я буду знать, что с вами все в порядке.

Он взял мои руки в свои, как тогда в лесу, и опять заглянул мне в глаза.

– Танечка, за меня переживать не надо. Берегите себя. Я знаю, что уговоры бесполезны. И, что бы я сейчас ни сказал, вы все равно будете проситься на фронт. И я ничего не могу сделать, от этого мне страшно и горько. Мне не сберечь вас, но, может быть, смогу поддержать.

Ничего не бойтесь, вы сами говорили, что Бог есть, и, если будет совсем трудно, просите его. Вас он услышит, вам он должен помочь. Потому что только он может...

Он смотрел на меня встревоженно, своими детскими чистыми голубыми глазами, и мне ужасно хотелось обнять его, но не могла и шевельнуться. Он поцеловал мне руки.

– Прощайте, Танечка! Душой я всегда буду с вами! Вы самая необыкновенная девушка из всех, что я знаю!

Он уходил, и мы никак не могли разжать рук. Он ускользал, исчезал он уходил навсегда, а я не могла его удержать и никто бы не смог. Он отдалялся медленно, махал мне рукой, и я, только когда пришла домой, заметила, что вся в слезах, а они все текут и текут, как реки.

\* \* \*

Наутро приехал Шурик. Мы так же сидели с мамой и шили, и каждую секунду прислушивались к радио. А он вдруг вошел в комнату как ни в чем не бывало. Он был на оборонительных работах и стал такой решительный, будто повзрослел и перегнал меня. Теперь он отвечает за нашу семью, не я. Может, это и правильно.

– Зоя, завтра пойдем устраиваться на завод. Будем обтачивать снаряды.

Я только кивнула и бросилась его обнимать с порога. А мама плакала. Мы уже и не надеялись увидеть его так скоро, а больше всего боялись вообще не увидеть.

В этот же день на город посыпались первые бомбы. Завыли, заорали дурняком сирены. Никогда никому не передать этот вой, этот жуткий крик, ужасный плач. Теперь он слышен каждый день, по нескольку раз. «Граждане воздушная тревога... Воздушная тревога...» Потом мне все время будет слышаться этот вой, будет сниться, и я буду просыпаться в холодном поту, бежать на крышу по привычке, чтобы тушить бомбы, отправлять маму в укрытие, и вздрагивать от рева самолетов. Но этот вой не передать, не перепутать ни с чем и никогда не забыть.

Ужасно хочется спать, но спать не могу совсем, даже когда выдается немного времени, немцы изводят налетами. Мы с Шуриком обтачиваем снаряды. У него получается лучше. А мне никак не сосредоточиться. С тех пор как А. Г. уехал, еще не было ни одной статьи. Как же я жду их! Мне кажется, я дышу вместе с ним, не будет его – не станет меня.

Я стараюсь побороть себя, сейчас нет места личному горю, оно одно общее, и надо сплотиться всем вместе, быть добрыми против фашистского зла, быть справедливыми против их подлости и лжи. Вчера говорила с Иррой, ее хотят отправить в эвакуацию, она не хочет ехать, сказала, что останется здесь и будет защищать город, даже если придется умереть, у ее мамы случился сердечный приступ. Мы все сейчас готовы умереть, разве можно жалеть свою жизнь, когда убивают дорогих и любимых. Зачем мне такая жизнь?

Когда мы копали щель, Семен Петрович пожалел досок. Я пошла и сказала ему: «Ты не человек, ты тире между датами». Он удивился:

– Почему?

– Потому что, когда ты умрешь, после тебя останутся только две даты и тире между ними.

Он вышел и ни говоря ни слова принес доски. Все спрашивали, что же я ему такое сказала? Как убедила его, такого вредного и эгоистично-

го? Я никому не рассказывала. Но мне вдруг подумалось теперь, будет ли кто-нибудь помнить мое имя? Будет ли оно стоить того, чтобы его помнили? Этот вопрос все время мучает меня, пока я здесь, а многие наши ребята уже на фронте, уже воюют. Надо что-то делать. Нельзя больше ждать. Ведь, если хотеть и верить, все получится.

Какое было необыкновенное чудо, как вдруг я услышала по радио его голос. Он говорил, что потом мы будем вспоминать это время с гордостью, что надо бороться, вставать на защиту Родины, поздравляя всех школьников с началом учебного года. И показалось, только мне опять сказал о том, что надо помогать на заводах, ухаживать за ранеными... Будто он знал мою печаль, будто пытался меня утешить, что я в тылу, и будто надеялся, что я соглашусь, что останусь дома, хотя и знал, что надежды нет. Это была запись, он вновь уехал на фронт. Но ведь несколько часов он был здесь, почти рядом, и я слышала его самый родной голос, и, значит, есть силы, вставать и идти, верить и бороться, победить.

Школу так и не открыли, в ней теперь воинская часть, занятий не было, и мы уже и не надеялись. И вдруг неожиданно позвали, собрали всех, кто остался, мобилизуют школьников на уборку урожая в совхоз. Я еду, с завода отпустили легко, а Шурик остается работать.

После бесконечного воя и плача московских сирен, страшного пути по обстреливаемой непрерывно железной дороге подмосковный осенний лес кажется целым миром, кажется бесконечной тишиной, где слышен каждый шорох и звук, где мы все вместе, и, кажется, нет войны, она осталась где-то там.

Холодно, у нас многие в туфельках и ботиночках, не догадались взять калош. Промозглая осень, льет серый дождь, то расходится, то моросит, руки все время в земле. Мы плохо выполняем план, и местные на нас ругаются. Спим в сараях, кормят хоть и вкусно, но мало, два или один раз, как получится.

Меня раздражают ребята, особенно мальчишки, они как будто сдались перед холодом, ничего не хотят делать, вытаскивают по одной картошине сверху. Вот дураки, ведь чем скорее уберем все, тем скорее уедем, да и будет еда, ведь говорят, что впереди страшный голод, если будет осада...

Я отделилась от всех, сказала, что буду сама копать свою грядку и выполню план за всех. Ребята только фыркнули:

– Ну и пожалуйста, давай-давай...

Они думают, я нарочно от них отгораживаюсь, будто я вся идеальная, а они – нет. Но ведь неправда. Одна только Нина за меня заступалась. А потом спросила, в чем дело, а когда я ей рассказала, что они неправильно копают, она меня тоже ругала:

– Что же ты промолчала? Они же московские, никогда картошки не копали, откуда им знать, как правильно. Нельзя так отъединяться, все на себя брать, надо было объяснить.

Может, она и права, может, я слишком строгая, нетерпеливая, может, всех меряю по себе. Но ведь ты либо делаешь, либо нет, нельзя делать наполовину. И А. Г. так думает. Не понимаю, не могу этого принять. Что толку объяснять, заставлять их работать, если они не хотят. Мне как белой вороне больше всех надо. А они словно бы не понимают, жалеют себя, переживают из-за какой-то ерунды... Мне так тяжело... Как объяснить, что война, что нельзя никого жалеть, что будет только хуже.

Немцы наступают, они все ближе. Положение отчаянное. Все боятся спрашивать, боятся говорить. Только напряженно прислушиваются к сводкам, затаив дыхание, ждут и молятся, а слухи ходят страшные, ужасающие. Но в них не хочется верить, в них нельзя верить.

\* \* \*

Мы вернулись. И дома ждала радость. В журнале его новый рассказ-сказка. Он написал его еще до войны, но он будто говорил со мной через него, я словно слышала его ровный уверенный низкий голос. Он говорил мне: «Я не смогу написать вам больше трех слов. Но это должны быть такие слова, чтобы в них вместились книга». А мне показалось, что в этот рассказ вместились вся наша жизнь, которой у нас никогда не будет.

Как не хватает его сейчас, даже если бы он не говорил, а просто посмотрел на меня, как раньше, мне передались бы его уверенность, его спокойствие, его правда.

Он бы понял меня, он ведь тоже пытался, за правду, за идеал. Ира тогда говорила, что мы оба максималисты и стоим друг друга, но никто не захочет, чтобы от него столько требовали, ты не щадишь себя и не щадишь других. Это неправильно, нельзя подходить к людям со своей меркой, будь требовательна к себе, а другие пусть сами разбираются, пусть берут с тебя пример, если захотят, бесполезно заставлять. Я обижалась на нее за эти слова, но сейчас мне кажется, она, наверное, была права. Не надо требовать, надо просто любить их всех, думать, что им тяжелее, чем мне, откуда мне знать, что у них на душе...

И у него, вероятно, тоже, и ему будет тяжело, хоть это и армия, но пусть бы и он любил больше, чем требовал от них. Наверное, он уже понял, уже догадался, и у него болит сердце за всех. И он пытается говорить честно, пытается поддержать, подбодрить, он не ругается ни на кого, как я.

Мама утешала:

– Просто вы все там промокли, устали, поехали в неподходящей обуви, не приспособились. Это ты у меня сильная, со всем справишься, ты столько у меня уже преодолела, что тебе эта картошка. Не переживай, время все расставит по местам, все сгладит. И это забудется, столько еще впереди всего.

Значит, надо своим примером, как А. Г., бороться самой, и другие увидят, и все возьмут оружие, и никто не будет жалеть своей жизни, может, потом, когда мы победим и наступит прекрасная, самая счастливая жизнь, о нас будут вспоминать, но не будут жалеть, не надо нас жалеть, нам выпал шанс бороться и доказать, что чего-то мы стоим. Пусть помнят, но не жалеют, ведь мы не жалели, мы знали, что этого стоит, а счастливую жизнь, может, кто-то за нас проживет. А мы будем радоваться оттуда. Отец ведь говорил, что смерти нет, что Бог ждет всех и всем все прощает, и что там лучше, там хорошо и спокойно. Вот только мама... Ее мне жалко, жалко очень, но, может, она поймет, что теперь такое безжалостное время и что жизнь на земле, как говорил папа, это ведь только подготовка к настоящей жизни и что все мы там встретимся.

Я сказала маме, что пойду на курсы медсестер, она, должно быть, поверила, больше не спрашивала, хоть я и видела, что волновалась, смотрела с тревогой на нас с Шуриком, будто все понимая наперед.

У бывшего кинотеатра теперь столько народу, больше тысячи, наверное, ни одна картина не собирала столько зрителей. Только кино здесь больше не показывают. Да и мы не зрители, мы пришли, чтобы умереть за свою Родину. Тут мальчишки и девчонки, девчонок больше, конечно. И все мы хотим попасть на фронт, стать разведчиками. Но берут не всех, и оттого тревожно. Но мы стоим целый день, никуда не уходим. Стоим в полном молчании, лишь изредка эхом прокатывается шепот: «А какие нужны документы?», «А если отец по 58-й статье, возьмут?», «А если нет восемнадцати?»...

И мне страшно, что скажут про деда и отца, что не возьмут с такой анкетой, но я буду стоять до конца, до самой глубокой ночи, я умру здесь, если нужно, только бы меня взяли, я уговорю их, не отступлюсь, они должны меня взять.

Вопросов мне задавали немного, только самое обычное: умею ли стрелять, прыгать с парашютом и прочее-прочее... Командир ходил по комнате, сам спрашивал и сам заглядывал мне в глаза. А я прятала руки, чтобы не подумал, что волнуюсь. И самый последний вопрос был, готова ли я умереть. И я, не раздумывая, выпалила: «Да». Он не удивился, все отвечали так же, только кивнул, взял у стенографистки текст и что-то отметил для себя, сказал: «Спасибо, ждите, мы с вами свяжемся».

И только когда вышла, узнала от ребят, что это значит точное нет. Я слышала через дверь: «дед – священник», «нет, мы не можем...» Как выстрел в спину. Но я не уйду, останусь до самого конца, буду сидеть здесь хоть всю ночь, нельзя сдаваться.

Шурик вчера сказал: «Воевать должны мужчины». Я вспыхнула: «А что мы – должны смотреть, как вас убивают, как убивают детей?!» Нет, мы тоже должны воевать, отомстить им за все зло, выгнать их с нашей земли. Для этого ничего не жалко и умереть не жалко.

Мама Шурику вторит. А я говорю:

– Мама, они напали без предупреждения, это подло, они клялись в дружбе, а сами предали.

– Зоинька, успокойся.

– Нет. Мы отомстим, обязательно, за все, за убийства и издевательства. Или ты забыла, что погиб Славка, что пришла похоронка на Сережку, а он ведь только школу кончил, забыла, как плакала женщина в бомбоубежище, у которой танком раздавили ребенка? Я ненавижу их, мама. Я буду их убивать, у меня не дрогнет рука!

Они никак меня не могли успокоить, а мне все хотелось доказать им, объяснить, казалось, они не понимают. Шурка смеется надо мной, говорит, это глупо, шапкозакидательство, но я добьюсь, докажу ему, я не сдамся, я выстою.

Я просидела под дверью кабинета до самого вечера, оставалось уже совсем немного. Вдруг из кабинета выскочила девушка, худенькая, стройненькая, как куколка, и я тотчас же узнала ее. Я видела ее возле Литературного института, она тогда смеялась и звала в гости. Нина, точно Нина. Она присела на подоконник и разрыдалась.

– Нина, здравствуйте, что с вами?

Она на минуту успокоилась и удивленно посмотрела на меня.

– Откуда вы меня знаете?

– Мы виделись около Литературного института весной. Не помните?

Она помотала головой и снова заплакала.

– Что случилось?

– Понимаете... Я... Меня уже взяли... И тут вдруг... беременность... как гром... Сережа на фронте, и я должна быть там... И вдруг... Что мне теперь делать?

Я обняла ее, она была такая маленькая, тоненькая, что было совершенно непонятно, как в ней может помещаться ребенок.

– Не плачь, мне кажется, у тебя будет девочка. Красивая, красивая, как ты, и смелая, как папа. Если б у меня был ребенок от любимого человека, я была бы счастлива.

Я не знаю, почему я так сказала. Я тогда не могла знать, что будет девочка, красивая и добрая, и что назовут ее Олечкой, и она будет писать, писать очень хорошие стихи, может быть, за меня, а может быть, за отца. Еще не родившись, она спасла свою маму от фашистов, от страшной смерти, а может, просто Бог уже знал, что это буду я, и никто другой не сможет пройти мою судьбу.

В одиннадцатом часу вышел командир, посмотрел на меня и удивился.

Я встала и сказала:

– Вы должны меня взять! Я не уйду, пока вы меня не возьмете!

Он покивал и переглянулся с майором.

– Придется взять. Повезло тебе. Возьмем вместо Нины. Завтра в шесть утра приходи с вещами.

Я летела домой как на крыльях. Меня взяли в школу разведки, у меня теперь настоящее дело. Никому не объяснить. Да и никто не поймет нашей тогдашней радости, ведь мы знали, что идем умирать. И радовались, радовались, как никто и никогда. Что мы нужны, и мы будем бить немцев, отомстим им за все, прогоним их отсюда, чтобы люди жили долго и счастливо. Мы избранные, нам доверили самое дорогое, и мы не можем подвести.

Шурик уже ушел на смену, мама не спала, сидела уставшая, ждала меня.

– Мамочка, прости меня, меня приняли в школу разведки, и завтра я ухожу.

Мама заплакала.

Я собрала вещи: пару белья, теплые носки, рукавицы, мыло. Сначала думала взять дневник, но нет, у разведчиков не может быть таких вещей, да и не нужен теперь мой дневник, никому не нужны эти детские наивные записи, все изменилось теперь, и я буду другой, буду сильной. Не нужен он больше, я кинула его в печь. Мама плача испуганно смотрела на меня. Взяла чистую тетрадку, если и буду писать, то теперь только с чистого листа, новая жизнь.

– Ну вот, остальное, наверное, там дадут.

Мама, рыдая, говорила еле-еле:

– Девочка, ты моя! Девочка!

Она перекрестила и обняла меня, и я чувствовала, как вздымается от беззвучных рыданий ее грудь.

– Мама, не надо. Ну прошу тебя, милая моя. Я еще не ушла, а ты уже меня оплакиваешь...

Я старалась улыбнуться.

– Ты только Шурику не говори, пожалуйста. Прошу тебя. Пусть это пока будет наша тайна. Скажи, что я уехала к деду в деревню. Ладно?

Она покивала, устало смотрела на меня, точно любясь, точно пытаясь запомнить, остановить меня взглядом, удержать.

Всю ночь она сидела рядом и не спала, как в детстве, когда я болела. Гладила меня по голове. Мне тоже было тревожно, не могла уснуть,

крутилась с боку на бок и только под утро задремала, но надо было уже вставать. Умылась холодной водой, и мама уговорила поесть, может, ей казалось, так она хоть ненадолго отсрочит мой уход, задержит страшную минуту расставанья и будет спокойна, что я что-то поела, как там сложится, кто его знает.

\* \* \*

Нас отвезли в московскую военную часть, предупредили, что все секретно. Дорогой мы молчали, боялись. А за завтраком разговорились. Я села с Верой и Клавой. Вера такая беленькая, светлоглазая, хорошенькая, как ангелочек на картинке, но грустная очень. Я только потом узнала, что перед войной она собиралась замуж и платье купила, а тут вдруг... И он погиб на фронте. Она здесь, чтобы мстить. Говорит, что все сделает, чтобы убить их как можно больше, чтобы мы победили, что и умереть не жалко, лишь бы избавить всех от этих гадов, что она никогда уже не выйдет замуж и не будет счастлива, но хочет, чтобы другие были...

А Клава все переживает за свою косу, у нее такая длинная, толстая коса, чуть не до пят, она все спрашивает: «Девочки, как вы думаете, отрежут?» Конечно, отрежут, какие тут разговоры, когда война, не до кос. И она, огорченная, глотает кашу.

После завтрака мы собрались у командира. Он небольшого роста, с теплыми карими глазами, смотрит на нас, как на своих детей, с какой-то болью и жалостью. Но мы уже чувствуем себя бойцами, стоим на вытяжку, мы счастливы, что нас взяли, и каждый старается быть лучше другого, запомниться, отличиться, проявить себя, каждый хочет, чтоб похвалили.

Он говорил недолго и просто.

— Товарищи, хорошо, что вы все согласились пойти сражаться с врагом. Но я должен честно сказать вам, может случиться, что вы все погибнете, из ста человек выживут только несколько. От фашистов не будет никакой пощады, они зверски расправляются с разведчиками, пытаются, мучают и вешают. Если кто-то из вас не готов к таким испытаниям, скажите прямо, никто вас за это не осудит. Выйдите из строя, кто хочет уйти.

Он внимательно смотрел на нас, подходил и заглядывал каждому в глаза, точно в душу. И сотни разноцветных глаз смотрели решительно, твердо. Никто не вышел из строя. Он подождал и, смягчившись, добавил:

— Ну что же... Вы у меня первая группа, из которой никто не вышел. Но я буду спрашивать вас об этом каждый день, перед каждым заданием. Вы вправе решать сами, я никого не буду удерживать.

Командир помолчал и еще прошел между рядами, разглядывая наши лица, точно мы уже были для него героями.

— Сейчас весь мир смотрит на вас, затаив дыхание, сейчас все надеются на нашу помощь и победу над злом фашизма. Не бойтесь фашистов. Они могут вас мучить, пытаться, издеваться, убивать, но они никогда не смогут захватить и поработить нас. Им не сломить нас. Они не войдут в Москву. Мы не дадим им этого. Мы будем жестоко мстить им за убитых товарищей, матерей, братьев и сестер. Они найдут здесь свою смерть. Мы будем взрывать их технику и боеприпасы, уничтожать дороги и мосты, будем сжигать дома, которые они оккупировали.

Будем помогать нашим войскам бороться в тылу врага. Сейчас вам выдадут обмундирование и паек, и мы начнем готовиться. Времени у нас очень мало, а научить вас надо многому, поэтому мы будем заниматься и днем и ночью. Отдыха не будет.

Нам выдали хорошую форму с карманами, полушубки и теплое белье. А Клава вышла уже без косы, улыбнулась смущенно:

– Девочки, а правда так лучше?

Все захохотали, смеялись до слез. Наверное, потому, что мы не могли плакать. Мы побеждали свой страх смехом. Мы чувствовали, что так легче, что если будем шутить – не падем духом, да и умирать лучше весело. А может, просто потому что мы все были молодые. Многим не было и восемнадцати.

В закрытых грузовиках нас привезли на базу в Кунцево. До войны тут был детский сад, ну что же, и мы для наших командиров дети.

У Клавы с собой много открыток, еще до войны собирала, а сейчас всем раздает. Говорит, зачем мне теперь, пошлите мамам. Я выбрала самую красивую с красными цветами.

*Мамочка, у меня все хорошо. Я люблю тебя! Как ты там, моя хорошая?*

А Наташе из дома дали с собой мешочек клюквы. Аля увидела и ахнула: «Ой, бусы рассыпались!» Все смеялись. Наташа говорит: бусы из рябины вон делай, а клюкву с собой на задание возьмем, я всем рассыплю.

Ягоды такие красные, как капельки крови, и такие красивые, точно и правда бусинки. У меня с собой только книги, сухари и тетрадка, угостить нечем.

Занимаемся днем и ночью. Отрабатываем приземление с парашютом в ночное время. Только приземлились и уже идем изучать оружие и стрелять. Учимся закладывать взрывчатку незаметно, стрелять даже из кармана, ориентироваться в лесу. Но главная задача – минирование, поджоги вражеской техники и складов. Как же я жалею, что не любила химию. Тут есть ребята из Бауманского, они придумали какую-то капсулу с кислотой, которую не потушить. Я задаю много вопросов, расспрашиваю обо всем, и меня хвалят. Две девочки при прыжках повредили ноги. Мы прыгаем по нескольку раз на дню. Свободного времени совсем нет. И я пишу только в мыслях. Тетрадка так и лежит нетронутой. Даже маме так и не успела больше написать.

Перед самым заданием командир просил зайти, но у него был кто-то в кабинете. Я села на стул, дверь была чуть приоткрыта, и доносились обрывки фраз: «Киев...», «Отступили...», «Остались отряды партизан...» (он стал показывать командиру на карте и что-то еще говорил тихо-тихо). А потом вдруг услышала фамилию, заколотилось сердце, точно выскочит сейчас наружу, и как глухие выстрелы: «Отказался эвакуироваться...», «Остался с партизанами...», «Погиб...»... Все закружилось, вокруг все потемнело и стало черным.

Очнулась я, когда командир и майор выходили из кабинета. Они продолжали о чем-то разговаривать, не обращая на меня внимания. А у меня все звучало, как разрыв, эти слова, и пронзала мучительная ноющая боль в сердце. Когда я рассказала Вере, она пыталась меня успокоить, говорила, может, тебе послышалось, может, не он, может, не погиб, мы же не знаем наверняка, сколько таких случаев.

Но я знала, это он, я чувствовала еще два дня назад, ныло в груди, и не могла спать. А когда уснула, он мне вдруг приснился, хоть так давно не снился. Он словно бы еще раз со мной простался, улыбался и говорил: «Танечка, я ухожу на задание. А вы оставайтесь».

Я замотала головой, как же я могу остаться, но не успела ничего сказать.

«Слышите, это приказ. Возвращайтесь домой, и ждите меня. Сберегите себя. Пишите, пишите за меня, пишите лучше, чем я... Я знаю, вы сможете. Вы все вытерпите, вы сильная».

Мы стояли в зимнем лесу на поляне, кругом белый-пребелый снег, как в пустыне песок. Он смотрел мне в глаза, и в них будто блестили слезы, держал за руки.

«Не горюйте обо мне. Прощайте».

Он уходит, не оборачиваясь, а я вдруг, будто очнувшись, бегу за ним, кричу:

«Нет, нет, не уходите. Они убьют вас!»

И вдруг просыпаюсь, подскакиваю на кровати, дали подъем, девочки сказали, я кричала во сне.

Я целый день была сама не своя, все думала, что может значить этот сон. Лида меня успокаивала, говорила, что если во сне плохое, значит, наяву наоборот все хорошо будет. Но это только слова. Я-то знаю. Я чувствую... И вот... Его нет.

Как теперь с этим жить, да и нужно ли жить? Мстить, да, нужно мстить, обязательно отомстить им за него. Он знает, что я не буду сидеть и ждать, и мне незачем больше себя беречь. Он знает, знал, что я не смогу... Я умерла бы за него не задумываясь, я жила бы ради него, пусть бы мы не виделись, пусть бы он жил где-то далеко, я была бы счастлива тем, что он жив, я любила бы и ждала бы его всю жизнь, но теперь... нет никакого смысла. Теперь нет ничего, кроме мести, нет ничего, кроме боли, адской зубной, только где-то в сердце, внутри, ноет, будто сверлит сверлом изнутри.

Теперь мы с Верой похожи, только у нее было платье и поцелуй, была любовь, а у меня – только мечты, только его слова, но они мне дороже поцелуев. «Таня, вы самая необыкновенная девушка... самая необыкновенная... Душой я всегда с вами!» – его голос звучал и звучал в голове, будто кто-то записал его там на пленку.

Завтра идем на первое задание.

\* \* \*

Вечером командир опять вызывал каждого и вновь спрашивал: «Не боишься? Не передумал?..» Я ответила сразу, как только вошла, он даже не успел спросить.

– Я не боюсь. Не передумала. Я сделаю все, чтобы выполнить задание.

Наверное, я смотрела холодными пустынными глазами, в которых навечно теперь лед, снег и зима, мне не согреться, но надо согреть других, надо спасти родных, спасти город, спасти нашу страну.

Командир словно прочел все это и больше не спрашивал и не говорил, только тихо сказал:

– Идите.

А потом уже у двери добавил:

– С Богом!

Я кивнула и улыбнулась, он совсем как мама сказал, как будто это она здесь со мной, провожает меня, будто обняла меня, и стало теплее.

Как перед боем, истопили баню, переоделись в чистое, новое. С собой ничего нельзя брать, никаких документов, писем, открыток, все это понятно. Мы безымянные, безвестные, мы разведчики.

Налила чай, затанцевали, закружились чайники, как когда-то на вечере. Мы с девчонками очень подружились, разговаривали обо всем. Я так к ним привыкла, полюбила их, я буду с ними до конца войны. Мы не боялись друг другу рассказывать самое сокровенное, наверно потому что знали, что это, может, наш последний вечер, может, больше никогда не увидимся, и знали, что никогда-никогда друг друга не предадим, никому не выдадим наших секретов, даже после смерти не расскажем. Мы умеем хранить тайны, даже самые страшные. И сейчас, перед вылетом, все смотрят друг на друга с грустью, будто прощаясь насовсем, будто пытаюсь запомнить друг друга, сохранить этот момент в памяти на всю недолгую жизнь.

Мы летим в бомбоотсеках, мы вместо бомб, там ужасно тесно даже нам, девчонкам, что уж говорить о ребятах, затекают ноги, руки, но все это мелочи по сравнению с тем главным, что предстоит. Выбрасываемся по команде, касанию рукой по плечу, а потом собираемся, закапываем парашюты и идем минировать шоссе.

Я прыгаю уже на автомате, уже по привычке, но все равно захватывает дух, и только стараюсь не отбить ноги, не потерять зарядку для рации и не упасть в воду, не зацепиться за деревья. Но в темноте ничего не видать, чернота, ни луны, ни звезд нет. И я падаю в листья, мягкие шуршащие.

В детстве, когда мы уходили с Шуриком на покос или в другую деревню, бабушка крестила и вслед говорила: «Идите с Богом!» А я спрашивала: «Бабушка, а где он, Бог? Он что, с нами пойдет? Почему его не видно?» Наверное, в тот раз он и правда пошел с нами, все приземлились, закопали парашюты и все собрались.

Нас с Клавой послали в разведку к шоссе. Мы долго ползли в листьях. Они шелестят, тихо не проползешь. И, кажется, каждый звук отдается глухим громким эхом. Клава приподнялась, и где-то совсем рядом загудел мотор, немцы, еле успели спрятаться. Каждую минуту надо быть начеку, лишь чуть зазеваешься, и все, погибнет вся группа. Самое трудное, я теперь в ответе за каждого, я не могу положиться только на себя, надо чтобы не только я хорошо стреляла, ползла, ориентировалась, минировала, надо, чтобы они все, никому нельзя ошибиться. Как же ответить за каждого, как помочь им всем, поделиться силой, уверенностью, спокойствием, бесстрашием. Справимся ли мы? Некогда думать.

Мы возвращаемся, машин нет, ребята ставят мины, а мы стоим на страже, они едва успевают закончить, как уже впереди рев, совсем близко, мы бежим в лес, и слышим разрывы, крики. Мины сработали. Задание мы выполнили, но у нас еще несколько дней. И мы уговорились выйти к шоссе подальше.

Ужасно хочется пить, но воды совсем нет, и снега нет, ни капелечки, а спирт, которым мы должны греться вместо костра, только усиливает жажду, пить хочется еще больше. Да и мы никак не можем его пить, сильно обжигает, берем в рот по капле, но им не согреться.

Клава замерзла, я отдала ей свой шарф, она не хотела брать, но я сказала:

— Бери, мне и так тепло. Вот, потрогай, горячая совсем.

Она трогает, и правда, я теплая. Я не сплю, чищу оружие и себе, и всем, привыкла уже в темноте, костры разводить нельзя, хожу в разведку, я не могу сидеть без дела.

Где-то простудила ухо, стреляет страшно, очень сильная боль, но я молчу, сейчас надо терпеть. Девчонки заметили, ругали меня, что я не сказала сразу, обмотали мне ухо шарфом. Петя сказал, что надо возвращаться, но я его уговорила. Он поверил, что я вытерплю, а боль такая, что хоть стреляйся, будто гвоздь в тебя вкручивают. Но я смогу, я справлюсь, а иначе зачем это все... Надо только побольше делать, тогда некогда будет думать, некогда чувствовать.

Ночью мы с Лидой нашли железный прут, может, от таблички или еще от чего, он был длинный, и мы придумали протянуть его на дороге, закрепив за деревья. И только мы закрепили, как услышали мотоциклиста, он слетел и разбился, мы забрали документы. Я первый раз видела мертвого, не человека, немца, а они ведь не люди, а значит, не страшно. Во время налетов в Москве однажды я видела, как бомбой убило женщину с грудным ребенком, они бежали и упали, лежали окровавленные с открытыми глазами, смотрели в небо, но уже не моргали. Я не знаю, почему подошла, почему посмотрела, знала, что не надо, а подошла. И они потом долго снились, я плакала, и было страшное чувство бессилия и обиды, злости, ненависти к фашистам. Думала, обрадуюсь смерти немца, но нет радости не было, было ощущение, что правильно, справедливо, так и надо, но радости не было.

Это было седьмое ноября. В Москве шел парад, мы узнали о нем уже потом, тогда просто поздравили друг друга. С праздником, с удачей, но предстояло еще вернуться в штаб.

Петя сказал, что теперь уж точно надо возвращаться. Долго выходили. Линия фронта совсем близко. По лесу ходят и наши, и немцы, и не знаешь, на кого наткнешься. Единственный путь через полузамерзшее озеро. И я провалилась в полынью, сама не знаю как, замерзла и простыла.

Нас очень хвалили, обещали представить к награде. Ребята собираются на новое задание, а я лежу с температурой. Уговариваю взять меня. Нужно поправиться поскорее, нужно выздороветь, но вместо этого все лежу и плачу от досады, горю как в огне. Как же обидно, как же некстати, но я встану, на войне нет болезней. Вчера дошла до командира, уговорила, упросила послать меня. Ему сложно со мной спорить, согласился, сказал, что если послезавтра температура спадет, то я иду. Но что он сам проверит лично, и чтобы я не думала ему сочинять.

Написала маме радостное письмо, что у меня все хорошо и, как только вернусь с задания, дадут отпуск и я их проведу. Некоторых уже отпускали, пока я валялась с температурой. На этот раз задание серьезное, сложнее. И это будет настоящее дело.

Видно, Бог последний раз попытался меня удержать, уберечь, температура была высокая, но девчонки откуда-то добыли мед и малину, отпаивали меня, да и клюква Наташина помогла. И стало лучше. Теперь я точно иду. Почему-то такое чувство, будто это очень важное задание, что я обязательно должна пойти.

Мы до сих пор не верим, что вернулись с прошлого задания все. И с удивлением смотрим друг на друга.

Вера пришла и читала мне стихи. Оказывается, она Маяковского тоже любит. Особенно это, одно из моих самых-самых:

Разрезая носом воды,  
ходят в море пароходы.  
Дуют ветры яростные,  
гонят лодки парусные,  
Вечером,  
а также к ночи,  
плавать в море трудно очень  
Все покрыто скалами,  
скалами немалыми.

А мне вспомнилось его: «Летчики-пилоты...». Я смеялась и плакала, девочки подумали, у меня бред. Нет. Было хорошо и горько. И я не знаю, как объяснить. Так хорошо от его слов, и так горько, что его нет. И никогда уже не будет.

Летчики-пилоты, бомбы-пулеметы...

\* \* \*

Удивительное чувство – спать на простыне после лесного лапника и листьев, удивительно и то, что можно спать. Но теперь не до сна, совсем. Скоро мы уходим. И как-то по-собачьи ноет внутри. Какое-то предчувствие, которое никогда никому не смогу объяснить. Перед вылетом попрощалась с комнатой и с кошкой. Девчонки ругались, говорят нельзя прощаться, надо говорить «до свидания».

Ночь опять такая хоть глаз выколи. Только на линии фронта где-то ухают разрывы, рассыпаются пламенем, как фейерверки, по всему небу. Очень боюсь упасть плохо, что-то сломать и стать обузой, нет, мне нельзя.

И все же сломала ногу, но не я, Наташа. Как-то неудачно брякнулась и вот. Мы связали ветки и уложили ее, а про оружие что-то и не сообразили забрать, дураки. И только отвернулись, она крикнула: «Прощайте, ребята!» и застрелилась. Не хотела быть обузой. Это первый раз вот так. Она первая из нас. Наташа. Клюква наша. Бедная моя. Как же это?

Но нет времени жалеть, нет возможности плакать. Ее серые глаза открыты, и она с надеждой смотрит в небо. Пока ребята не видят, я крещу ее потихоньку и про себя молюсь, чтобы Бог простил ее и принял туда, где всегда хорошо. Отец говорил, что после смерти человека надо отпеть, а как это отпеть, я и не знаю. Мы ведь даже его не отпевали, мама побоялась. Прости, папочка. Я теперь за тебя буду просить.

Мы закапываем Наташу, сооружаем то ли крест, то ли табличку, хоть бы самим потом не забыть, найти это место. Написать родителям. Нет, лучше не писать, лучше не говорить ничего, не рассказывать, как глупо и быстро, нет, пусть она будет героем, она и была героем всегда.

У всех на душе горько. Глухое молчание. И кажется, каждый винит себя. Почему я не догадалась, не забрала у нее наган, почему... не уберегла... Но «если бы» – уже нет. И Наташи уже нет, веселой, сероглазой. Нет.

Ребята спокойнее, или делают вид, а мы с девочками переглядываемся и не решаемся сказать ни слова. Нельзя. Впереди линия фронта, самое трудное, но перейти надо сейчас, как можно быстрее, до рассвета, успеть. Идем цепочкой, смотрим в затылки друг другу и больше

ничего не видим. Вдруг где-то совсем рядом громкие хлопки, крики. Падаем, едва успеваю выставить вперед руки. Все так быстро, ничего не разобрать, взвожу курок. Взлетают осветительные ракеты. Немцы. Боже мой, сколько их. Ребята уже стреляют. Приказ рассредоточиться и отходить в чашу.

Я стреляю и не вижу, попадаю или нет, ползу к лесу, поглубже. Бьет автоматная очередь, ярким светом разрезает ночь, ребята хлопают в ответ из пистолетов. Бой неравный. Мы отходим все дальше. Я хочу остаться прикрыть их, глаза свыклись, и я стреляю в немцев, они замечают и открывают ответный, опять отползаю, свистят пули, очереди и никак ничего не понять. Боря оттаскивает меня за плечо. Кричит: «Отходим!» Он старший, он приказывает, гонит глубже в лес, а сам старается нас прикрыть. Это несправедливо, я тоже бы могла. Но в памяти опять слышатся гневные слова майора: «Ты запомни, приказ есть приказ! Ты поняла?! Приказы надо выполнять!»

Выполняю. Запыхавшиеся, собираемся на поляне, но нет Лиды, нет еще мальчиков. Ждем до рассвета. Ужасно холодно, сильнее всего мерзнут ноги в сапогах, кажется, их никогда ничем не согреть. Мы с Верой и Клавой укладываемся на лапнике, греемся друг об друга, меняемся, по очереди ложимся в середину, и все равно холод непреодолимый, будто внутри.

Я просилась, чтобы меня послали в разведку, но Боря отправил Васю. Его долго не было, он сказал, что раненых нет, все мертвы, принес их вещмешки и оружие. Мне почему-то до сих пор не верится. Как-то он странно сказал. Я очень прошу дать мне сходить захоронить, но Борис непреклонен, нужно приступать к заданию, не до того.

Мы помним наизусть все села, в которых должны сжечь немцев, но их слишком много, вдвое больше, чем нас, оставшихся, а это значит, не успеем, провалим задание. Боря предлагает разделиться. Вера с Клавой идут с Пашей, а мы с Васей остаемся с Борей. Прощаемся и расходимся. Опять же глупо, не говорю никому, но такое чувство будто навсегда. У всех такое чувство, и в горле ком. Девочки. Отдала Клаве свой пистолет, у меня ведь самовзвод, тульский, а я и из обычного хорошо стреляю. Ей нужнее. Хотела поспорить, но, видно, не решилась, знала, бесполезно. Вера белокурая, даже ресницы светлые – снежная королева. Может, наколдует нам снег?

И только мы разошлись, как и вправду пошел снег, первый в этом, году, белый, холодный. Я ловлю его ртом, пью его. Нас всех мучала жажда, пить хотелось нестерпимо, а как назло ни лужицы, ни снега. И вот теперь настоящий подарок. От Веры? От Бога? Он идет сейчас медленно, плавно. Мне всегда казалось, что снежинки играют свою музыку, танцуют разные танцы. Когда медленно, то кружат вальс, а потом закручивают кадрили, выделывают мазурку. За одну ночь насыпало столько снега, хоть ныряй с головой. От него как будто стало теплее или от того, что мы идем, быстро, продираемся сквозь чашу. Солнце вышло и слепит в глаза, отражается от снега, на деревьях капельки, блестят и леденеют бриллиантами.

Сухари кончились, осталась одна вобла. Боря разделил на всех. Вася проглотил свой кусочек сразу и с грустью посмотрел на мой.

– На, возьми, – говорю я. – Я не хочу, правда. Бери.

Он мотает головой, но я вижу, как ему хочется взять. Всовываю ему в руку. Мне не жалко. Он краснеет.

– Спасибо.

Вася немного странный, неразговорчивый, как будто чужой, он с нами первый раз идет, я совсем не знаю его. Может, поэтому так. Будто он нас стесняется. Смотрит, будто мы московские какие-то другие, а он из деревни, крестьянский сын, уже на оккупированной территории был, видел немцев, бежал, чтобы воевать. Признался, что писать почти не умеет, школа была далеко, работать надо было. Я обещала научить его писать. Пишу на снегу ему буквы, научила писать имя. Он первый раз улыбнулся, глаза у него такие зеленые, словно трава летом, были грустные, а теперь заблестели. Мне кажется, он хороший, добрый.

Боря закуривает в рукав, ему не нравится Вася, не верит он ему, не нравится, что я с ним болтаю вот так просто, что он взял мою часть воблы. Борька очень справедливый, но, наверное, немного заносчивый, как я когда-то, он хочет, чтобы все было по правилам. Он смелый, добрый, и он все равно относится ко мне как к девушке, не как к бойцу, он жалеет меня. И обижается, не от того, что я поделилась с Васей, а не с ним, а оттого, что Вася взял. Боря хотел мне свой кусок отдать, он бы и Васе отдал. Он настоящий командир, так похож на моего Шурика. Мы с ним сразу поняли друг друга, хоть и ссорились сначала, но теперь он как брат, он понимает меня, знает мое упрямство.

Как жалко, что девочки ушли. Как хорошо здесь в лесу. Как хочется жить и забыть о войне. Мне сейчас не верится, что мы идем на задание. Кажется, будто в школе урок физкультуры в лесу или мы пошли на лыжах, или в пионерский поход, как бывало. Вот сейчас разожжем костер, поставим палатки, возьмем гитару и всю ночь проболтаем, пропоем, будем жарить хлеб и колбасу.

Но нет ни колбасы, ни хлеба, ни палаток, и костер разжигать нельзя. Мы идем с Борей в разведку, деревня совсем близко. Боря специально не берет Васю, хочет проверить его, вдруг сбежит. Почему-то упорно не хочет ему верить, не говорит, но я вижу по глазам, чувствую.

Подход к деревне неудобный, после леса открытое поле, все просматривается как на ладони. Перебегаем с Борькой дорогу, и укладываемся, недалеко от деревенской школы, здесь лес ближе, лежим в кустах. Солнце уходит, набегают тучи, нас укутывает снегом, подмораживает. Немцы выносят из школы парты, рубят на дрова. Вот гады.

Они совсем близко в двух шагах, кажется, вот-вот увидят нас. Но они не видят, проходят мимо. Двое останавливаются покурить рядом с нами. Они разговаривают и не думают уходить. Рука затекла и колет тысячью иголок, от холода ноют ноги, но нельзя шевельнуться, нельзя пикнуть. Иногда время тянется невыносимо, как же мы дотерпели, как уползли, мне все время казалось, что сейчас не выдержу, так холодно было. Щеки обжег мороз, ресницы покрылись инеем, снег набился в сапоги, под полушубок.

Мы возвращаемся. Вася на месте, Борька смотрит с удивлением, но молчит. Мы разведали, в каком доме конюшня, штаб и больше всего немцев. Боря поручает мне конюшню, Васе – дом с немцами, а себе берет штаб. Нам нужно только поджечь и быстро незаметно в лес. Несложно. Боря ждет первой темноты, а Вася говорит, что надо подождать ночи.

– Может, еще до утра подождать?! Боишься, так и скажи. Можешь не идти, я тебя снимаю с задания.

Борька будто нашел подтверждение своим догадкам и будто бы даже обрадовался. Но Вася ведь прав, надо было это мне сказать, меня бы Борька послушал, надо было раньше, а теперь уже поздно... упрямый, как мой Шурик. Теперь ни за что не согласится.

– Я просто предложил. Ты же командир. А на задание пойдешь, не имеешь права не взять! – обиженно бурчит Вася.

И снова замолкает, будто прячется в скорлупку, даже со мной говорить не хочет. Ребята пьют по глотку спирта, уговаривают меня, но я не могу, никак не могу пить этот спирт, он обжигает и такой гадкий на вкус. Я топлю в ладонках снег и слизываю его, он как мороженое. То самое вкусное, которое мы ели с ним, я словно бы вижу его улыбку, такую ласковую, нежную... Слышу это его: «Таня... Танечка...» Надеваю его рукавицы, они меня греют теплее всего, руки не мерзнут, он говорил, и на войне они были с ним, значит, они чувствовали тепло его рук, набрали его много-много и теперь отдают понемножку, по чуть-чутьочку, мне. Словно бы он здесь со мной, словно бы живой... Прижимаюсь к ним щекой. С ним ничего не страшно, и умирать не страшно.

\* \* \*

Темнеет. Мы прячем вещи, закапываем в снег. В деревне расходимся на три стороны, молча, без слов, все в напряжении. Я иду к конюшне, бросаю бутылки быстро и сразу все. Прячусь за сараем. Конюшня горит. Немцы бегут, крики, горит машина, из конюшни выскакивают горящие лошади. Бедные. Лошадей мне жаль, они ведь не виноваты, они живые. Но не должно быть жалости, это война. Они не жалели грудных детишек, не жалели женщин и стариков... Им не будет пощады.

Штаб тоже горит, и немцы шумят, бегают, тушат. Значит, Боря справился, молодец. А в конце, где немецкие солдаты, где должен был быть Вася, – ничего. Может, не успел, может, еще не было возможности... Он же не мог предать, передумать, нет, не мог. Не верю. Может, пойти туда, узнать... помочь... вдруг его схватили... Борька бы сказал, нет, ни в коем случае, был приказ возвращаться в лес, нельзя себя обнаружить. Но ведь и товарищей бросать нельзя... А что бы сделал А. Г.? Он бы пошел. Может быть, выждал, когда утихнет, но пошел.

Сердце колотится бешено, но некогда думать. Я быстро иду к лесу, иду через Васину сторону, может, удастся разглядеть, разведать, что с ним.

– Эй, стой. Куда идешь?

Я вздрагиваю. Оборачиваюсь, старик с бородой и винтовкой, на рукаве – повязка, немецкий староста. Лицо красное, в нос бьет запах спирта. Пьяный? Похоже.

– На станцию, к матери в Москву еду, – вырвалось как-то сразу, не думая.

– Эвон, как далеко. Ну ступай, ступай, – кивает, прищуривая глаз.

Иду медленно, а надо бы бежать побыстрее, но ноги как ватные. Дорога просматривается насквозь, она длинная, идет вдоль всей деревни, надо было огородами, с другого края незаметно, дожидаться ночи. Но я иду в сторону Васи, нащупываю пистолет в кармане. Если бежать, будет заметно сразу, а так ведь могут не обратить внимания, не заметить. В Москву к маме. Москва ведь там. Медным холодным солнцем светит луна. Круглая, белая, как пустое блюдо. Снег потрескивает под ногами.

Кто-то тяжелый обхватывает меня за плечи сзади, пытается заломить руки, кричит по-немецки: «Стой!» Я борюсь с ним достаю пистолет, но он сильный, такой сильный, что скручивает руки, я выбиваюсь, пытаюсь оттолкнуться. Он не один, сзади тот самый старик и еще два немца с оружием.

После я тысячу раз буду обдумывать, что надо было сделать, как убежать, что все сделала глупо, не так. Не верится, что попалась так просто. Думала, всегда смогу вырваться, думала, так не может быть, я сильная, умею стрелять, всегда успею выстрелить. Невезение, глупость, судьба, что это?.. Уже не важно... Уже не важно...

Немцы благодарят старика, дают ему бутылку водки, тащат меня в штаб, я упираюсь ногами. Что-то же можно сделать? Что-то нужно... Но что?.. Как? Руки связаны сзади. Я пытаюсь развязать веревку, вытащить их. У меня очень тонкие запястья, самые тонкие в нашем классе, я выпутаюсь, но он так крепко связал. Веревка врежется в кожу, немеют руки. Только чуть-чуть расшатала.

Меня вталкивают в избу, я чуть не падаю. В доме две девочки и женщина, их выгоняют на улицу, а маленькая затаивается на печке. Я улыбаюсь ей. Мне жаль ее и страшно за нее, почему-то не за себя. В Москве в бомбоубежище, я видела ребят из детского дома. Там были две девочки-близнецы – Ксюша и Матреша, их деревню сожгли немцы, а мать накрыла их своим телом, и они уцелели, им года по три-четыре, они долго жили на пепелище, нашли ямку от бомбы и в ней жили, партизаны их переправили в Москву. Сколько их таких было... сколько их таких есть... Вчера на поле видели повешенных маленьких мальчиков... Но нет, надо быть сильной. Надо собрать весь дух, что у меня есть, пусть пытаются, убьют, но не сломят... никогда... буду стоять насмерть за них... за маму, за Шурика... им не взять Москвы... А Москва сейчас – это я, это Вера, Борис... Это все мы...

Мать девочек замешкалась, увидела меня и будто остолбенела, будто думала, что сделать, чем помочь и не могла сообразить. Я говорю ей глазами, беги, иди скорее, заведи девочек... Но немец выталкивает ее из избы силой. Словно бы он тут хозяин... Ненадолго... Пусть все мы умрем, но выгоним их... отомстим... Мамочка, отомстим. За нами правда, и поэтому с нами Бог. Надо только не бояться, не думать, не чувствовать, надо вытерпеть.

Меня ведут к полковнику. Он сидит за столом, важный, как король на троне, в очках и фуражке и с противными гитлеровскими усами. Вот интересно, у них так модно или их заставляют, чтобы все как один походили на подлеца Гитлера. Я смотрю ему в глаза, он ежится, точно я бью его больно, отводит взгляд. Отводит и начинает допрос на немецком, рядом переводчик. Хоть я и так понимаю. Мне хочется закричать: «Эй, фриц, нечего было тратиться. У меня по немецкому пятерка. Я Гете в подлиннике прочитать могу по памяти. Только Гете тебе не брат, и не нужен он тебе, у тебя нынче фюрер со своей бандой. А Гете нынче с нами, он теперь русский, он теперь наш, а не ваш, вы сожгли всех на костре. Вы просто бандиты и разбойники, вы никакие не немцы».

– Ваше имя?

– Таня.

– Что вы делали в деревне? Какое у вас задание?

Попробовать легенду, нет, не поверит, но надо, как учили, стоять до конца, вдруг повезет.

– Я из соседней деревни. Гостила у бабушки, шла на станцию, чтобы вернуться к маме в Москву.

Просто какая-то Красная Шапочка, не умею я врать, ерунда это все, лучше сказать правду, все равно убьют, но может потянуть время, дать Боре с Васей возможность уйти. А вдруг поверят и отпустят.

Полковник с усмешкой смотрит на меня.

– Ваш сослуживец Василий уже рассказал нам все. Говорите правду. Это вы подожгли конюшню?

Не может быть. Вася? Нет, не верю, они его заставили, он не мог сказать. Не мог предать... Нет... Или Боря был прав?.. Нет, тысячу раз нет, такого не может быть, потому что не может быть никогда. Вася честный, он бы не мог, они его пытали, убили, мучили... что с ним... Правду говорить легче.

– Да, я.

Уже не выпутаться, и я иду на это, иду к нему, иду к А. Г., я сама так решила. Это главное, остальное не имеет смысла сейчас. Пусть расстреляют.

– Какое у вас было задание?

– Уничтожить вас!

– Сколько вас?

– Я одна.

Он злится, подходит ближе и бьет со всей силы по щеке. Резко, больно, лицо горит.

– Сколько вас? Говори!

– Не скажу!

Я набираю оставшуюся слюну изо всех сил и плюю в него. Он вытирается платком, злится, в ярости. Снова бьет по щеке.

– Говорите! Когда вы перешли фронт? Где находится ваш штаб?

Они будут повторять эти вопросы всю ночь, все время.

– Я ничего вам скажу!

Так говорил Мальчиш-Кибальчиш, так говорил он, так говорила Таня, так говорю я.

– Вы можете спасти свою жизнь и послужить Германии. Ваш друг уже согласился с нами сотрудничать. Мы можем предложить вам выгодные условия. Скоро мы возьмем Москву...

Я перебила:

– Вам не взять Москвы! Уходите отсюда пока целы! Я не буду с вами сотрудничать, можете меня расстрелять! Я ничего вам не скажу!

Он улыбается с издевкой, и, мне кажется, у него в глазах бегают маленькие чертики, через очки они скачут черными бликами.

– Хорошо. Посмотрим...

Он показывает солдатам на лавку, приказывает меня раздеть. Я сжимаю зубы, они снимают все до исподнего, оставляют только трусы. Стыдно. И я сама ложусь на лавку, чтобы они не смотрели на грудь, вижу их ухмылки, сейчас будут бить. Их четверо, они бьют солдатскими ремнями, бьют со всей силы, словно отбивая мясо. Я стискиваю зубы. После нескольких ударов, они подходят и спрашивают, я мотаю головой, говорить уже не могу. Во рту одна кровь, сгустки, смешанные со слюной, гадкий свинцовый вкус. Ужасно хочется пить. Они продолжают, кровь разбрызгивается фонтаном, брызги летят в стороны. На мне нет живого места, мне кажется, сзади одно сплошное мясо, одна кровоточащая рана. Слезы сами льются от боли, волосы слиплись на затылке. Мне все время кажется, что я уже умерла. А они все бьют и бьют.

Наверное, когда я начала терять сознание, им приказали остановиться. На меня накинули рубашку и повели на улицу в белье, в другую избу, там повторяется все то же. Какая-то женщина кидается на меня с помоями, кричит, что я сожгла ее дом, а немцы целы, другая отгоняет ее со слезами. Неужели они все целы, неужели ни один не пострадал.

нет, машина горела, я сама видела, и конюшня, и со стороны Бори был огонь.

Сдирают ногти щипцами, адская боль, и нет сил заорать. Я всегда боялась этого больше всего. Мне казалось, это очень страшно и непереносимо больно. Когда я лежала в больнице с менингитом и делали уколы в спинной мозг, я думала, большее этого ничего нет. А мама все сидела рядом и со слезами на глазах просила: «Потерпи, еще немножечко потерпи». Мне сейчас кажется, она опять рядом, опять просит: потерпи еще немножечко. А я говорю ей: «Мамочка, я терплю, я у тебя сильная, я все смогу, ты не бойся. Я потерплю». И изо всех сил зову Бога, зову, как отец меня учил, если будет совсем тяжело, просите, он поможет. Отец говорил, он никогда никого не оставляет, помогает всем, даже если и медлит помочь, надо просить. Теперь я прошу его, особенно уже не о себе, уже о мамочке, о Шурке, о ребятах, пусть простит и сохранит их, пусть муки мои будут не зря. Отец говорил, страданиями душа очищается...

Меня выгоняют на мороз в одном белье, я иду как пьяная, голова кружится, иду босиком по снегу, горит все тело, ног не чувствую, рубашка противно липнет к кровоточащей спине. Меня водит молодой солдат, наверное, он мне ровесник, и он отчего-то зол на меня, он ненавидит меня, за что... Наверное, за то, что из-за меня он не спит, что ему приходится ходить со мной по морозу. Минут через пятнадцать он замерзает, и возвращаемся отогреваться, и так все время, мне кажется всю ночь. Ноги черные, в избе они бьют тысячами иголок так, что невозможно сидеть, стоять, лежать, хочется умереть. Они распухли. И каждый раз мне кажется, сейчас я упаду и больше никогда не встану. Как они идут, я не понимаю, я пытаюсь шевелить ими, но это уже не мои ноги, они не слушаются. Снег мягкий, скрипит. Мне кажется, я иду к нему, бегу в теплых валенках на нашу опушку, и там всегда светит солнце, от него тепло, оно греет, а здесь ночь и холод до зубов. Неужели эта окровавленная девочка в рубашке, обмороженная, – это я? Разве это я? Разве я бы могла? Это Бог.

Все проходит, все можно пережить, надо вытерпеть, вытерпеть весь свой путь. Я думаю о них обо всех, о замученных, о детях, о людях, о солдатах, они увидят, что я смогла, и значит, и они смогут, значит, смогут победить. Есть женщины, которые рожают детей, а есть женщины, которые идут умирать, чтобы жили дети, чтобы продолжалась жизнь на земле.

Мы все готовы были умереть, но никто почему-то не думал, что это будет именно с ним. В детстве я всегда мечтала, что когда вырасту и выйду замуж, у меня будет длинная-предлинная кружевная белая фата, такая длинная, что можно завернуться целиком. Я заворачивалась в занавеску, а мама смеялась. Не будет у меня фаты и свадьбы не будет, и меня не будет.

Было очень страшно и больно, но об этом никто никогда не узнает, никто не узнает, как мне было, кроме него и Бога, эта моя ненаписанная повесть. Уйдет, погибнет, вместе со мной. Пусть за меня напишут другие, пусть напишут от сердца, чтобы знали люди.

\* \* \*

Теперь время тянется бесконечно, кажется, никогда не пройдет эта боль. Идти нет сил, но я иду, немец держит сзади штык, и стоит

остановиться, как он впивается в спину, входит в рану, словно режет живую, мне хочется закричать, но нет сил, я искусала все губы до крови. Трясет, знобит, мороз пробивает до костей, и от него никуда не спрятаться.

В избе пьяные солдаты, они хохочут. Может, я уже в аду? От тепла расходится боль, горит все тело. Пить, как же хочется пить, кажется, что отдала бы все за один маленький глоточек, во рту только кровь, я пью ее и захлебываюсь, от мороза кашель, сопли, все с кровью, то жар, то озноб. Наверное, я уже не здесь, наверное, я уже умерла. Вся изба плавает, будто отраженная на воде. Вода... Пить... Как же хочется пить... Наверное, я говорю это вслух, потому что хозяйка избы идет за черпаком и хочет дать мне. Но немец выбивает у нее из рук, подносит мне к губам керосиновую лампу. И снова боль, резкая, горят губы, я отшатываюсь.

Немец орет, что поджигатель должен пить керосин. Солдаты оживляются, подносят к моему лицу горячие спички, близко, обжигают и отводят, я отворачиваюсь, они смеются. Один, что посмелее, побалагуристее, пьянее других, берет пилу и проводит по спине. Все тело сводит боль, адская, непередаваемая, от которой можно только заорать страшно, не по-человечески. Я кричу, но голоса нет, как хорошо, что голоса нет.

Мне кажется, никогда не кончится эта ночь, никогда не уйдет боль, как ни повернись, она режет на части, кровоточит, отключает сознание. Мне все время кажется, будто меня уже нет, может, я уже там, может, уже умерла, и только голоса, звуки, вытрясают обратно.

Немцы уходят спать, со мной остается старый солдат. Что ждать от него, смотрю с ужасом. Но он кидает мне подушку и укладывается на печь. Ночью нужно спать, у немцев все по порядку, по дьявольскому распорядку, который хоть умри нельзя нарушать. Я не могу лечь, любое движение боль, страшная, и руки связаны – не повернуться. Он, видно, заметил, развязал мне руки, погрозил пальцем и лег спать, поглядывая на меня. Знал, что не сбегу, не смогу, а значит, можно спать.

Из сеней вышла женщина, похожая на маму, или мне сейчас так кажется, что все женщины похожи на маму. Она спрашивает у немца о чем-то, не могу разобрать, тот кивает, и она приносит мне воды, целый ковшик. Я выпиваю сразу весь, выхлебываю, будто прошла всю пустыню без воды, будто месяц не пила... И словно бы жизнь возвращается, я еще есть, я что-то чувствую кроме боли.

– Спасибо, спасибо... – шепчу окровавленными губами и сама не слышу своего голоса.

У женщины в глазах слезы. Она гладит меня по голове, как мама в тот самый последний день дома. Плачет, а сделать ничего не может. Никому мне не помочь, и никто не смог бы это изменить, даже он. А. Г. тоже знал, что так будет, знал и боялся за меня, пытался сказать, и не мог... А я не могла уберечь его. Уже все решено, уже все уготовано...

Лежать больно на всем, не только на спине, стонет все тело, саднит спина, горят огнем ноги, стреляют, режут тысячью ножей. Спать невозможно, но я проваливаюсь в темноту и, наверное, задремываю, потому что вижу, как в избу входит папа. Я испуганно оглядываю избу, не видит ли кто его, но немец спит, а женщины нет. Я кричу ему:

– Папа, уходи отсюда. Уходи скорее. Здесь немцы.

Он смотрит на меня с улыбкой.

– Ну что ты, Зоинька. Не бойся, ничего не бойся. Они не могут мне ничего сделать.

И тут вдруг я понимаю, что папа умер десять лет назад, его давно уже нет. Комок подходит к горлу, и я плачу, обнимаю его.

– Папочка, я так скучала по тебе, мне так не хватает тебя.

Я рыдаю в голос. Он гладит по спине.

– Ты у меня сильная, ты у меня храбрая. Я теперь всегда буду рядом. Ты прости меня. Мы теперь всегда будем вместе. Еще совсем немного. Помолись, как я тебя учил. Помнишь? Помолись.

И я читаю молитву, слова откуда-то приходят сами, я не помню их, не знаю, что это за молитва, но повторяю снова и снова, беззвучно шепчу губами.

У папы в руке крестик, он благословляет меня и исчезает, тает, становится прозрачным, невидимым...

Я оглядываюсь по избе – никого, немец спит. Я встаю, но будто не иду, а лечу, я такая легкая как перышко. Я в белой рубашке, только крови совсем нет, ни капли, и боли не чувствую. Я скорее бегу из избы, фашисты спят и будто не видят меня, никто не замечает меня, я иду по лесу, занесенному снегом, тороплюсь к условленному месту и думаю: только бы успеть... И вдруг выхожу к озеру, застывшему, стеклянному, припорошенному, как каток у нас во дворе. А он стоит на том берегу и зовет: «Идите сюда!» А по озеру стреляют немцы, простреливают насквозь, и я боюсь, не решаюсь, думаю ползти... И вдруг бегу к нему со всех ног, разбегаюсь и лечу, свистят пули, разрывы, кругом раненые, вся река покрывается телами, заливается кровью, становится красной, а в нас не попадают, будто бы нас нет. Я вся в крови, в одной рубашке, и мне стыдно, что он видит меня такой. А он стирает кровь, берет меня за руки, смотрит в глаза.

– Вот и встретились! Я так ждал вас, Таня, – он улыбается, так ласково, по-детски.

Я открываю глаза. Рядом сидит женщина, она вытирает кровь со лба.

– Чья ты, девочка? Откуда ты? Как тебя звать?

– Таня. Из Москвы. А вам зачем?

У нее в глазах слезы.

– Помолюсь за тебя, доченька. Родители-то есть у тебя?

– Мапочка только и брат.

Она гладит меня по голове, и мне кажется, она нереальная, она будто ангел. Есть ли она? Была ли она? Или привиделось?

У нее печальное доброе лицо, и оно будто светится, расплывается. Она плачет.

К ней подбегает девочка.

– Фашисты виселицу строят у школы. Велели всем прийти.

Ее голос звенит звоночком, и как бы грустно она ни говорила, голос все равно радостный, потому что детский. Мать шикает на нее.

А я улыбаюсь.

– Слава Богу! Хорошо!

– Господи, Господи! – Женщина крестится.

А мне становится радостно – значит, уже скоро, значит, уже чуть-чуть. Как хорошо. Я улыбаюсь.

Они пугаются, смотрят на меня, как на блаженную, ненормальную. Как всю жизнь смотрели в школе.

Спасибо тебе, Господи, Спасибо.

Боль возвращается с новой силой, напоминает о себе. Фашисты выгоняют женщину с девочкой и снова начинают допрос. Опять сдирают ногти, а я не плачу, я смеюсь, как ненормальная, я уже не здесь.

Я смеюсь каким-то странным смехом, немцам становится страшно, и даже один из них, тот, что старый, крестится по-своему, через левое плечо.

А мне смешно оттого, что они ничего не могут мне сделать, ничего... Они в оторопи смотрят на меня. А я улыбаюсь сквозь боль, рассматриваю их лица, и мне становится жаль их. Сейчас меня не станет, а их будут убивать, убьют их всех, они будут мучиться, мерзнуть, и им не будет пощады, их не простят. А я прощаю, прощаю их всех. Теперь мне легко.

Они делят мою одежду. Молодому досталась шапка и меховая куртка, а двум другим – сапоги и рукавицы. Его рукавицы, с его теплотой и нежностью. Впрочем, теперь мне не жаль, это ничего уже не значит, все это уже не важно.

Женщина помогает натянуть мне чулки на распухшие синие ноги. Они вешают на меня табличку с надписью «Поджигатель». Ведут под руки, но я отталкиваю их, иду сама, теперь я могу. Теперь боль нипочем. Это уже не я.

И отчего-то все видится по-другому, с жалостью, лица, наши, немецкие, я будто вижу, что случится с каждым, а сказать – не поверят, я будто уже знаю что-то, что им не узнать и не могу объяснить никак.

Я иду на казнь. Все смотрят молча, кто-то стирает слезу, кто-то отворачивается. Они жалеют меня, а я их. Женщина, которая вчера меня ругала, все еще злится, бьет мне палкой по ногам, что-то кричит, но я давно не чувствую ног, как они идут, не знаю, может, по инерции. Мне уже все равно, пусть бьет, вдруг ей от этого легче. Пусть. Пусть только простит меня.

Тихо. Солнышко поблескивает на снегу. Ветра нет. Елки стоят нарядные, осыпанные снегом, точно длинной фатой. Еще несколько секунд, и меня не будет, а все это будет жить. И моя липа будет жить, цвести, расти. И они встретят победу, увидят, как наши дойдут до Берлина, как будут плакать по погибшим в этот счастливый день. Он ведь будет. Он обязательно будет. И он не забудется. И в этот момент отчаянно хочется жить, развязать руки и убежать в лес... далеко... Но нет... Мне уже не убежать... Мне уже не миновать... Отец говорил, умирать не страшно. И я иду к нему, иду к А. Г., иду к Богу. Это мое счастье, которого не понять, это мое... Мамочка, милая мамочка, ты прости меня. Шурка, и ты не злись. Родной мой братик, однажды ты поймешь... обязательно поймешь... Я вас очень люблю... любила... Простите... Нельзя иначе... Не смогу...

Только бы успеть им сказать, только бы они услышали, только бы поняли, только бы простили... только бы хватило силы, времени, голоса.

Но теперь на все хватит, все успеется. Меня ставят на ящики от снарядов. Вдали виднеется золотой маленький куполок церкви со снятым крестом. Я смотрю на блестящую на солнце маковку, от нее льются лучики, солнечные, теплые, вот бы стать ими, слиться с этим светом, раствориться в нем. Может, оно так и бывает, ведь я видела – там есть свет, там только свет, самый яркий, какой не представить и не описать.

У людей испуганные лица, даже у той женщины, что ударила, теперь испуганное, грустное лицо. Я смотрю на нее, на них на всех, и мне хочется их всех обнять. Так хочется помочь им всем, сделать их счастливыми, спасти их, если б я могла... Осталось несколько секунд, но кажется, в них можно прожить сто жизней. Каждое мгновение – вечность. Если б остаться жить хоть еще на час, я бы обязательно сделала столько, сколько не успела за всю жизнь. Но я могу только говорить, сказать как можно больше, успеть...

Немец наводит объектив, прицеливается фотографировать и никак не приладится.

– Эй, товарищи! Что смотрите невесело? Будьте смелее, бейте фашистов, жгите, травите, выгоняйте с нашей земли!

Мой голос звучит громко, радостно, он уже будто не мой. Фашист, кажется, понял без переводчика, хотел ударить, но я перехватила его руку. Я сейчас не чувствую боли, и во мне столько силы, что хватит на всех.

– Мне не страшно умирать! Это счастье – умереть за свой народ!

Полковник занервничал, стал торопить фотографа. Я повернулась к нему, надо сказать ему, надо сказать сейчас.

– Вы меня сейчас повесите, но я не одна, нас много миллионов, всех не перевешаете! Вам будут мстить за меня! Пока не поздно сдавайтесь в плен! Все равно победа будет за нами! Потому что за нами правда и с нами Бог!

Немец накинул петлю, мне сдавило горло, я ухватилась руками, какой-то нечеловеческой силой раздвинула ее.

– Прощайте! Не бойтесь! Боритесь!

Фашист затянул петлю. Раздался крик, точно выстрел в тишину. Может быть, кричала та женщина, похожая на мать, а может, это заплакал лес, застонала земля. Птицы слетели с деревьев. И стало тихо, так тихо, что не слышно ничего.

Все разошлись.

\* \* \*

Фронт растянулся. Дороги разбиты. Все еще бомбят. Петр ехал уже несколько недель и теперь явственно понял, здесь застрял надолго. И больше всего тяготило бездействие.

Он ехал по заданию редакции писать о партизанке Тане, которую казнили немцы, а она никого не выдала и спасла свой отряд, о ней рассказали вышедшие из окружения ребята. Но там сейчас бои, и теперь не проехать, что делать, очерк ждут в редакции со дня на день. Петр ходил по комнате, как тигр в клетке, курил, злясь на себя, на дороги, на немцев, на проклятую войну, как в дверь вошел старичок, маленький, седенький, в дырявой одежде.

– Ты, что ль, тут будешь писатель?

– Я корреспондент из газеты. А тебе зачем, отец?

– Да вот... – старичок помялся, – сказывали тебе про партизанку надо. Так у нас была одна...

– Где?

– Да вот отселева километров пять по прямой через лес, у меня дочка в том селе...

Петр поначалу расстроено махнул рукой.

– Да нет, мне под Вязьму надо.

Старик уж было хотел идти.

– Ну, коли не пойдет...

– погоди, отец. Расскажи, что там приключилось.

Он остановил старика и усадил перед собой.

– Ну что рассказать... Был у дочери, как немцы подошли. Девочку там казнили. И так мне запомнилось. Ее вешали, а она говорила, ей петлю на шею, а она все говорила. Сказывала: боритесь товарищи, победа за нами будет. Бейте супостатов...

– А как звали-то ее?

– Ой, этого не скажу, не знаю. Это только Бог знает. Да, может, кто из тамошних что расскажет. У меня-то и память уже никуда...

Петр посмотрел в окно, сквозь лес шла дорога.

– Туда, что ли, по прямой?

Обернулся, старика уже не было. Кинулся за ним, но во дворе сидели только солдаты, они курили и старика не видели.

Кто-то будто повел его, и тогда он сам не мог объяснить, почему самовольно, без приказа, быстрым шагом побежал искать то село. Стучал во все дома, спрашивал, отвечали неохотно. Но вдруг...

– Кажется, Таней она назвалась... Пытали ее, мучали сильно, а она все на своем стояла...

«Таней... мистика какая-то», – подумалось вдруг.

Тоже Таня. Только другая. И все больше затягивала, брала за душу история, рассказанная местными. И написалась быстро, сама собой. И покоя не давала, будто сама хотела что рассказать, будто звала. Потом очерки, расследование, мама, Шурик, звание Героя, статьи, повести, столько всего. Хорошего, плохого, разного. Верят, не верят. И дважды казнят.

Ну а после будут говорить, говорить, говорить... Говорят.